Venevitinor, D.V.

полнов

собраніе сочиненій.

Д. В. BEHEBHTUHOBA,

изданное подъ редакціею

А. П. ПЯТКОВСКАГО.

СЪ ПРИЛОЖЕНИЕМЪ ПОРТРЕТА АВТОРА, ФАЕСИМИЛЕ И СТАТЬИ
О ЕГО ЖИЗНИ И СОЧИНЕНІЯХЪ.

с. петервургъ.

ВЪ ТИПОГРАФІИ О. И. БАКСТА.

Офицерская, № 4.

1862.

PG3447 V4 1862

печатать позволяется,

съ тъмъ, чтобы по отпечатаніи доставлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземиляровъ. С. Петербургъ. Декабря 21 дня 1861 г.

Цензоръ В. Бекетовъ.



D. Deneumunon

. . , S . . .

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ *

Мъсто рожденія поэта. — Первыя внечатлінія его дітства и первоначальное воспитаніе. — Дорерь и классическая словесность. — Первые литературные опыты; занятія живописью и музыкой. — «Посланіе» къ друзьямъ; первое знакомство съ театромъ. — Вступленіе въ московскій университеть и начало занятій философіей. — Философскій кружокъ; его значеніе и характеръ. — Рожалинъ и Кирфевскій. — Первая любовь. — Знакомство съ Пушкинымъ. — Перевздъ въ Петербургъ. — Разлука съ любимой женщиной и ея гибельное вліяніе. — Скептицизмъ, упадокъ силъ и признаки возрожденія. — Конечновліяніе организма; смерть поэта.

Дмитрій Владиміровичь Веневитиновъ родился въ Москвъ 14 сентября 1805 года. Общественное положеніе, избытокъ матеріальныхъ средствъ, благопріятствовали новорожденному съ первыхъ шаговъ его въ свътъ. Онъ принадлежалъ по роду къ одной изъ старинныхъ дворянскихъ фамилій, по всей въроятности, вышедшей изъ Запорожья (въ родословной Дмитрія Владиміровича часто упоминаются есаулы); большое помъстье въ Воронежской губерніи доставляло ему роскошную и изящную обстановку въ жизни, напередъ спасая отъ всъхъ нравственныхъ изкушеній бъдности. Домъ его матери былъ однимъ изъ самыхъ извъстныхъ и почтенныхъ домовъ въ Москвъ, и составляль даже нъчто въ родъ салона артистовъ. Сюда охотно

^{*} Приносимъ здѣсь нашу искреннюю благодарность Ал. Вл. Веневитиновул кн. В. Ө. Одоевскому и А. П. В—ской, познакомившейся съ Веневитиновымъ въ бытность его въ Петербургъ. Ихъ немногосложныя, но драгоцънныя увъзанія много уяснили намъ личность поэта.

А. П.

заглядывали всв мъстные и забзжіе художники, пъвцы, музыканты — и подъ ихъ-то благодатнымъ вліяніемъ раскрывались, мало по малу, поэтпческіе пистинкты ребенка. Мы сказали: домъ матери, потому что, въ раннемъ еще детстве, Веневитиновъ, потеряль своего отца и остался на рукахъ нёжно-любившей его матери — Анны Петровны. Къ счастію Веневитинова, она не была похожа на классическихъ «матушекъ», пустившихъ въ свъть цълую толпу забалованныхъ до отупленія сынковъ; но избъгая вреднаго потворства всевозможнымъ слабостямъ дитяти, она не желала также «учить» его нравственности съ помощью избитой морали и жесткаго обращенія съ дітскимъ возрастомъ. Вся проникнутая духомъ теплой, непедантической религіи, она, собственнымъ приміромъ любви и кротости, вірнъй всего настраивала къ добру первые помыслы дитяти, внося въ его воспитание этотъ неоцъненный женственный элементъ, такъ счастливо развивающій наилучшія стороны дітской природы. Подъ ея-то вліяніемъ, чуждымъ мелкихъ стісненій и родительской тираніи, освоился нашъ поэтъ съ тою «нравственной свободой», про которую часто говориль въ своихъ сочиненіяхъ. Когда ребенку минуло восемь лѣтъ, то мать, уже теряя возможность вести его впередъ одними собственными стараніями, съуміла найти человіка, который бы, съ такой же любовью и внимательностью, направляль его дальныйшее образованіе. Это быль Дорёрь, отставной капитань французской службы, человъкъ умный и образованный, который могь, какъ нельзя лучше, действовать на впечатлительного мальчика. Дорёръ явился къ своему питомцу первымъ представителемъ науки и мысли — и нельзя не замътить, что многое и многое въ жизни поэта зависъло отъ характера этой первой встрвчи. Веневитиновъ искренно полюбилъ своего наставника, съ которымъ и началъ свои учебныя занятія. Летній поездки на дачу въ Кусково или Сокольники пріятно разнообразили учебную жизнь мальчика — и тамъ, на волъ и просторъ, ръзвился онъ со всей неутомимостью своего возраста. Всевозможныя игры бывали имъ перепробованы; тамъ же, въроятно, одушевила его впервые та любовь къ природъ, которую онъ постоянно сохраняль въ себъ. Часто доброму гувернеру приходидось отыскивать въ саду своего питомца — и звонкій голосокъ, а потомъ и книга, слетавшая съ какого нибудь высокаго дерева, давали анать о прихотливо выбранномъ мѣстѣ. Книгой этой обыкновенно была латинская грамматика: съ нея началъ Дореръ, знатокъ римской литературы, классическое образованіе мальчика. Въ параллель съ изученіемъ древней литературы, Дореръ, какъ французъ, ставилъ конечно изученіе своей родной, французской, но ни въ дѣтствѣ, ни въ поздиѣйшихъ лѣтахъ, у Веневитинова не лежало сердце къ французскимъ поэтамъ. Впослѣдствіи, когда мальчикъ достигъ уже большей степени зрѣлости, занятія нѣмецкой поэзіей совершенно отвлекли его отъ литературы Корнеля и Расина.

Для греческаго языка быль найдень, по совъту Дорера, особый преподаватель—грекъ Бейля. Замъчательныя способности дитяти, его, почти недетская, вдумчивость и внимательность, много помогали его успъхамъ. Между греческими классиками у него скоро оказались свои любимцы: — Софоклъ и Эсхилъ — и, укрѣпившись въ познаніи языка, онъ пробоваль даже перевести и всколько отрывковъ изъ «Прометея». Картина тяжелыхъ мученій этого миническаго героя, прикованнаго къ скалъ за соперничество съ богами въ тайнъ созданія, сильно затронула его воспріимчивую душу. В вроятно, съ этого же времени онъ полюбилъ и Платона, въ которомъ находилъ «столько же поэзіи, сколько глубокомислія, столько же пищи для чувства, сколько для мысли». Вообще онъ скоро свыкся съ древнимъ міромъ, гдѣ, по его словамъ «мысли и чувства соединялись въ одной очаровательной области, заключающей въ себъ вселенную, гдъ философія и всь искусства, тъсно связанныя между собою, изъ общаго источника разливали дары свои на смертныхъ. Этой чертой своего воспитанія, равно какъ и другими чертами своей кратковременной жизни, Веневитиновъ напоминаетъ намъ другаго, безвременно угасшаго поэта, Андре Шенье. Извъстно, что авторъ «La jeune captive> — произведенія во многомъ напоминающаго нъжно-задумчивую музу нашего поэта --- быль сильно увлечень, въ ранней молодости, изучениемъ древнихъ классиковъ

Классическая жизнь была такъ цёльна и замкнута; ея без-

смертные памятники въ литературѣ и искусствѣ исполнены такой глубокой и звучащей гармоніи, что изученіе ихъ неотразимо дѣйствуетъ на молодую, впечатлительную душу и не убивая въ ней ни одного изъ жизненныхъ элементовъ, придаетъ имъ всѣмъ гармоническое равновѣсіе. Намъ кажется, что только изъ подобнаго настроенія могли возникнуть эти, тысячу разъ повторенные, стихи:

Теперь гонись за жизнью дивной И каждый мигь въ ней воскретай, На каждый звукъ ея призывный Отзывной пъснью отвъчай!

По другимъ предметамъ, нужнымъ для элементарнаго образованія, мать Веневитинова своевременно приглашала къ себъ на домъ наставниковъ— и, такимъ образомъ, мальчикъ совершенно ускользнулъ отъ школьнаго воспитанія....

Изъ новыхъ учителей никто не имѣлъ замѣтнаго вліянія на мальчика, не исключая и учителя русской словесности. Русская литература, еще только расцвѣтавшая тогда, не могла имѣть много даровитыхъ цѣнителей, и Веневитиновъ самъ долженъ былъ заботиться объ этой части своего образованія. Изъ русскихъ писателей, онъ познакомился прежде всего съ Карамзинымъ, и «Исторія Государства Россійскаго» была съ жадностью прочтена имъ.

Объ руку съ литературными занятіями Веневитинова, шли другія, столько же освъжающія и увлекательныя — занятія живописью и музыкой. Его разнообразные таланты и здёсь выказали себя въ полномъ блескъ. Позже, онъ такъ усиълъ въ музыкъ, что могъ свободно писать довольно трудныя композиціи, и постоянно слылъ въ кругу своихъ знакомыхъ за талантливаго музыканта. Заключительные стихи «Къ любителю музыки» показываютъ весьма ясно: какой глубокій, вдохновенный смыслъ имъла для него поэзія звуковъ. Нѣсколько стихотвореній было въ ранней молодости переложено имъ на ноты; до насъ не дощли эти переложенія, но сохранились нъкоторыя другія музыкальныя пьески *). Мы видѣли также

^{*)} Одну такую пьеску видёли мы у А. В. В—ва. Князь В. Ө. Одоевскій, самъ любитель и знатокъ музыки, говорилъ намъ, что Веневитиновъ былъ

одну его художническую работу (эскизъ головы Медузы) и не могли не признать въ ней смѣлости и выразительности, весьма значительныхъ при томъ маломъ упражненіи, которымъ онъ пользовался. Особенно поразили насъ живо-схваченные глаза Медузы....

И такъ, классическая словесность, музыка, живопись и поэзія — вотъ тѣ первыя вліянія, подъ которыми слагалась нравственная натура поэта. Но любовь къ размышленію, мечтательности и серьезнымъ умственнымъ трудамъ, такъ рано замѣчаемая въ нашемъ дитяти, счастливо совмѣщалась въ немъ съ самой открытой и дружелюбной веселостью, иногда переходившей въ дѣтскую рѣзвость, но никогда въ задорность и шаловливость. Позднѣе, подъ вліяніемъ многихъ печальныхъ событій въ жизни, Веневитиновъ утратилъ въ значительной степени это природное качество; но офо все-таки нерѣдко слетало къ нему, оживляя и разсѣевая ето тяжелыя думы.

Съ 14-ти лътъ, авторскія наклонности мальчика выразились еще полиже: Горацій не сходиль съ его рабочаго стола и плодомъ такой умственной дружбы были немногіе переводы въ стихахъ изъ римскаго корифея. До насъ не дошли эти первыя упражненія поэта; но за то уцільть другой переводъ изъ Виргиліевыхъ Георгикъ, писанный около того же времени. Какъ бы ни было мало безусловное достоинство этихъ переводовъ, но на нихъ поэтъ старательно упражиялъ свою руку, а подобные опыты никогда не пропадають даромъ. Такимъ образомъ, 16-ти лътъ, Веневитиновъ былъ уже достаточно развить, чтобы написать гладкимъ и звучнымъ стижомъ маленькое оригинальное посланіе: «Къ друзьямъ». Здёсь, номъ именемъ друзей, нужно разумъть дъйствительныхъ друж зей юности поэта: подобно всякому юнош'в съ н'вжной и пылкой душою, онъ рано искалъ дружеской пріязни и первыя лица, раздёлявшія ее, были: Скарятинъ, даровитый художнивъ, умершій въ Италін на мѣств изученія искусства *) и Ө. С. Хомяковъ, братъ недавно-умершаго поэта.

отличный музыканть и читаль всё теоретическія сочиненія о музыкі, что тогда, а особенно въ Москві, было совершенною рідкостью.

^{*)} Скарятинъ служилъ сначала въ военной службѣ, и въ посланіи, адресованномъ къ нему, Веневитиновъ называетъ его «драгуномъ».

Около того же вромени, написана Веневитиновымъ и «Вѣточка» переводъ изъ Грессѐ, единственное стихотвореніе, заимствованное имъ изъ французской дитературы. Изъ «посланія» видно, что поэтъ успѣлъ уже полюбить свое поэтическое призваніе. «Пусть — говоритъ онъ — кто хочетъ, ищетъ славы, богатства, веселья; я и безъ нихъ счастливъ

Съ лирой, съ върными друзьями».

Взглядъ, самъ по себъ, конечно, идиллическій и, со временемъ, онъ долженъ быль значительно измёниться отъ вліянія новыхъ жизненныхъ вопросовъ, новыхъ требованій живой природы; но и самый буколизмъ его уже нъсколько указываль на ту норму понятій, въ которой позже утвердился поэть. Быть можетъ, раннее изучение Байрона (во французскихъ переводахъ) помогало развиваться этому взгляду, но самая чуткость, съ которою нашъ поэтъ прислушивался къ голосу англійскаго лирика, уже показывала въ немъ значительную душевную зрѣлость и способность внимательно задумываться надъ своими собственными ощущеніями. Подобный взглядъ сильно развивалъ природную впечатлительность поэта, сосредоточивая внутри его всв разнообразныя чувства, высказываемыя только вполовину, или переданныя одному дружескому сердцу. Въ примъръ сильной впечатлительности поэта, мы сообщимъ следующій, интересный случай.

(+1 1

Мать Веневитинова имѣла свой особенный взглядъ на театръ, въ силу котораго она не хотѣла знакомить сына со сценою раньше достиженія имъ семнадцатилѣтняго возраста. Вѣроятно, она дѣлала это въ тѣхъ видахъ, чтобы домтавить ему самому несравненно большее наслажденіе видѣть и понимать игру артистовъ, чѣмъ, видя, оставаться къ ней вполнѣ-равнодушнымъ или, что всего хуже, передразнивать нимало не прожитыя чувства и положенія. Такимъ образомъ, только 17-ти лѣтъ Веневитиновъ переступилъ порогъ театра. Въ день его перваго знакомства со сценою была дана какаято опера Россини. Пьеса необыкновенно подѣйствовала на поэта, и долго потомъ онъ твердилъ наизустъ цѣлыя тирады и примѣнялъ къ себѣ различныя положенія дѣйствующихъ лицъ.

Семнадцати лътъ Веневитиновъ былъ уже достаточно под-

готовленъ къ слушанію лекцій въ своемъ родномъ университеть. Московскій университеть, въ то время, вощель въ славу, представляя въ удостовърение своей полезной дъятельности имена Мерзлякова, Давидова (И. И.), Павлова (М. Г.). Несомивный таланты перваго изы нихы составилы даже эпоху въ исторіи этого университета. То поэть, то ученый, Мерзляковъ (А. О.) имълъ сильное вліяніе на слушателей: его горячая любовь въ усивхамъ русскаго просвещения, часто выражавшаяся въ увлекательной импровизаціи, много укрышла необходимую симпатическую связь между канедрой и аудиторіей, а публичныя лекціи, читанныя имъ въ 1812-16 годахъ, обратили на университетъ особенное вниманіе общества. Къ тому же и сухой классицизмъ Баттё и Лагариа, принятый Мерзляковымъ въ основу своей профессорской и критической дівтельности, замітно смягчался въ немь психологической теоріей Эшенбурга и, всего болье, тымь природнымь чувствомь изящнаго, которое неръдко проглядывало изъ-за механическаго построенія его ученыхъ приговоровъ. Такъ напримѣръ, не смвя открыто бранить Хераскова, Мерзляковъ находилъ иногда возможнымъ вставлять среди похвалъ ему такія замічанія, которыя позволяють сомнъваться въ непринужденности хвалебнаго тона *). Это странное противоръчіе между природнымъ чувствомъ и върой въ классическій догмать приводило Мерзлякова къ фактамъ еще болве интереснымъ. «Чувство Мерзлякова при чтеніи произведеній Пушкина — говорить намъ г. Шевыревъ **) — выражалось только слезами. Читая «Кавказскаго Пленинка», онъ, говорять, плакаль. Онъ чувствотить, что это прекрасно, но не могь отдать себъ отчета въ эт й красотъ — и безмолвствовалъ ***). Но ограниченность

^{*) «}Многіе герои Хераскова — говориль Мерзляковь въ своемъ журналь «Амфіонь» (1815 г.) — суть Эфемеры или лучше сказать блестящія пылинки Санхоніатона, которня сражаются между собою въ какомъ-то темномъ мірѣ, исчезають и родятся, но чрезъ это ни мало не показывають пи своего начала, ни сущности, ни качества».

^{**)} Біографическій Словарь Ими. Моск. Университета. М. 1855 г. Ч. ІІ.
***) Веневитиновъ, быть можеть, намекаеть на это въ своемъ разборъ
«Разсужденія» Мерзінкова: «Тоть, кто чувствуеть — говорить онъ — невсегда можеть дать себъ отчеть въ своихъ чувствахъ».

и отсталость его литературной теоріи уже вызывала противъ себя дъятельность И. И. Давыдова въ духъ новыхъ, болъе широкихъ взглядовъ на искусство. На долю М. Г. Павлова выпала та же роль — вести впередъ своихъ слушателей и современниковъ, обобщивъ между ними познанія естественныхъ наукъ, выведя эти науки изъ тины педантства и мелкихъ определеній на обширный путь всесторонняго развитія. Подобная роль была съ честью исполнена Павловымъ: онъ былъ одинъ изъ первыхъ шеллингистовъ въ Россіи и для него природа не была мертвой и безжизненной формулой, лишенной свъта и теплоты. Эта замъчательная черта профессора Сельскаго Домоводства очень ясно выразилась и въ его публич-. ныхъ лекціяхъ (февр. 1825 г.) и въ разныхъ журнальныхъ статьяхъ, гдъ, по привычкъ объяснять каждый фактъ какимъ нибудь разумнымъ началомъ, онъ проводилъ «философическій взглядъ» даже на холеру, тогда еще мало разъясненную *). Но всего полнъй міровоззрѣніе Павлова высказалось въ его извъстной «Физицъ» (Москва 1836 г.). «Природа — говоритъ авторъ — есть гармоническое иплое, следовательно въ спискахъ ея, то есть въ наукахъ естественныхъ, должна господствовать та же гармонія: въ нихъ должно быть единство начала. Вотъ мысль, осуществленія которой я всегда жедаль. Но, между тъмъ, въ современныхъ физикахъ, по господству въ нихъ понятій механическихъ, нъть единства начала, нъть даже плана науки». Сказавши это, московскій ученый сильно заботился о плань въ своемъ учебникъ и, задавъ себъ разъ понятіе о «силахъ природы», мало останавливался на ихъ мелочныхъ правленіяхъ **). Бесёды съ Павловымъ и Тушаніе его докцій, по всей въроятности, впервые навели Веневитинова на занятія

^{*)} Философическій взглядь на холеру. «Телескопь» 1831 г.

^{**)} Ученымъ авторитетомъ онъ полагалъ въ этомъ случав знаменитаго Ге-Люссака, сказавшаго въ 1828 г., въ своихъ «Лекціяхъ физики», что «Силы природы, способныя производить безконечно разнообразныя явленія, составляютъ важивищую часть въ изученіи физики.» Но понятіе о цёлостности природы, о стройной гармоніи между всёми ся явленіями, нашъ ученый прямо черпаль изъ Шеллинга и Окена.

философіей, плодомъ которыхъ были извёстныя письма къ княгинъ А. И. Трубецкой — о философіи *).

Посвщая университеть, Веневитиновь не записывался, вирочемъ, въ студенты и не обязывалъ себя къ постоянному, регулярному слушанію лекцій одного факультета. Но педагогическія бесъды, устроенныя для всъхъ желающихъ профессоромъ Мерздяковымъ, охотно посъщались юношей и скоро развернули въ немъ тъ качества хорошаго прозапка, которымъ суждено было проявиться только въ весьма немногихъ статьяхъ. Очевидцы говорили намъ, что на этихъ беседахъ Веневитиновъ обращалъ на себя вниманіе, какъ своимъ яснымъ и глубокимъ умомъ, такъ и замечательной діалектикой своихъ доводовъ. Здесь же. возражая профессору, Веневитиновъ показалъ впервые ту самостоятельность взглядовъ, которую полнте обнаружиль впоследстви въ разборе разсуждения Мерзлякова: «о начале и духѣ древней трагедіи». Въ особенности трудно было нашему поэту согласиться съ темъ, что «Жуковскій — это арабскій конь, который бросплся въ каменистую степь и хромаетъ на всѣ четыре ноги» **). Года два продолжалось это сольное слушаніе университетскихъ лекцій — и къ его времени относятся нъкоторыя произведенія Веневитпнова: — переводъ изъ Макферсона (съ франц. текста). «П'еснь Кольмы» и два отрывка изъ неконченной поэмы. Сюжетъ поэмы заимствованъ изъ исторіи г. Зарайска, жестоко пострадавшаго въ первое нашествіе монголовъ. Еще въ раннемъ дітстві, поэтъ быль въ этомъ городъ и воспользовался устнымъ преданіемъ. Говорять, что Зарайскій князь Өедорь получиль отъ Батия предложеніе достойное азіатца; отдать ему въ наложницы свою молодую, прекрасную жену Евпраксію. Въ случав несогласія, Батый грозиль ему окончательнымъ разореніемь удёла. Молодой князь не испугался, однако, угрозы и, въ порывѣ благороднаго мужества, ръшился отстоять свои супружескія права. Онъ встрътиль Хана передъ ствнами города и далъ ему роковую битву, имъвшую одинъ конецъ со всеми тоглашними битвами: Өелоръ былъ

^{*)} Они были напечатаны подъ именемъ «Писемъ къ графинѣ N. N».

^{**)} Воспоминаніе одного изъ бывшихъ слушателей Мерзлявова.

убить, Батый уже готовился исполнить свою ханскую прихоть. Но молодая жена не дождалась своего позора и, узнавъ о геройской смерти мужа, бросилась внизъ съ городской стёны, вместь съ своимъ младенцемъ. До сихъ поръ, мъстные жители показываютъ ея мнимую или дъйствительную могилу, не привлекательную ничъмъ кромъ воспоминанія.

Одно лишь темное преданье Въщаетъ о дълахъ въковъ И въетъ вкругъ нъмыхъ гробовъ.... *)

Это глубоко-трагическое событие было опенено по достоинству поэтическимъ чутьемъ Веневитинова, но скоро начавшееся глубокое изучение германской литературы отвлекло его отъ тщательной обработки этого сюжета, и дело окончилось двумя отрывками, случайно уцълъвшими отъ истребленія. Вирочемъ, есть основаніе думать, что поэтъ нашъ и самъ почувствоваль свое безсиліе предъ этой грандіозной темой, требовавшей не одного только вижшняго изученія родной старины, но и глубокаго проникновенія въ духъ народа. А этотъ то духъ народности быль тогда совершенно terra incognita, и только смутное его предчувствіе бродило въ ніжоторых умахъ. Бросивъ свою поэму, Веневитиновъ не возвращался уже болъе въ своихъ произведеніяхъ къ событіямъ отечественной исторіи **). Сюда же прилегаютъ, по времени, «Къ друзьямъ на новый (1823) годъ», «Отрывки изъ пролога», «Смерть Байрона», «Пъснь грека», «Любимый цвъть» (посвященный сестръ ноэта — Софьъ Вл. В-вой) и первое посланіе къ Рожалину. Планъ «пролога» неизвъстенъ, но самая мысль — заставить умереть Байрона въ борьбъ за свободу чуждой націи показываеть, что Веневитиновъ умълъ видъть его въ самомъ поэтическомъ

^{*)} Событіе это разсказано въ Исторіи Карамзина.

^{**)} Позднѣе, въ разборѣ первой пѣсни «Онѣгина» нашъ поэтъ обнаружить плохое пониманіе русской народности, называя «Руслапа и Людмилу» произведеніемъ народнымъ. Винить ли за это Веневитинова? Во-первыхъ, это могло быть имъ сказано, какъ комплиментъ Пушкину, въ родѣ тѣхъ, которые онъ говорилъ и Мерзлякову для смягченія рецензіи; вовторыхъ, и самъ Пушкинъ не выходилъ тогда въ пониманіи русской народности изъ-подъ авторитета Карамзина.

свътъ, какъ бойна за угнетенное человъчество. «Пъснь грека» навъяна тъмъ же предметомъ. «Любимый цвътъ», не смотря на изящество своего замысла, никакъ не можетъ идти въ сравнение съ предъидущей пьесой, допынъ сохранившей свою красоту: — произведенью этому вредитъ отсутствие внимательной отдълки, небрежность нъкоторыхъ стиховъ, происходившая оттого, что нашъ поэтъ писалъ сразу, безъ варіантовъ.

Посланіе къ Рожалину составляетъ эпоху въ юности поэта, и на немъ слѣдовало бы остановиться долѣе, чѣмъ на другихъ произведеніяхъ того же времени. На первый взглядъ, оно носитъ на себѣ признаки какого то насильственнаго байронизма, но объясняется однако тѣмъ, что цоэтъ нашъ дѣйствительно былъ обманутъ однимъ близкимъ человѣкомъ, долго скрывавшимъ свой настоящій характеръ.

Оно начинаетъ собой, безъ преувеличеныя, новый періодъ въ краткой жизни поэта — періодъ, о которомъ мы поговоримъ немного ниже, такъ какъ значенье Рожалина составляло только одну дъятельную частицу въ общемъ значеніи кружка, въ который скоро вошелъ Веневитиновъ.

Университетскія занятія Веневитинова шли въ уровень съ его умственнымъ развитіемъ — и, черезъ два года послѣ первой прослушанной имъ лекціи, онъ, безъ труда, выдержаль экзаменъ, требовавшійся тогда по указу 1809 г. для пріобрѣтенія нѣкоторыхъ преимуществъ по гражданской службѣ. Недостатокъ реальныхъ познаній цоэтъ нашъ восполнилъ нѣсколько позже изученіемъ физіологіи, подъ руководствомъ изъвѣстнаго Лодера *). Впрочемъ изученіе реальныхъ наукъ не освободило его отъ того невольнаго мистицизма, которому подчинялись въ то время весьма образованные люди, въ томъ числѣ и нашъ знаменитый Пушкпнъ. Такъ напр. Веневитиновъ, незадолго до своей смерти, въ разговорѣ съ одной молодой женщиной, мечталъ о томъ, въ какомъ видѣ предстанетъ онъ къ ней изъ-за гроба......

^{*)} Въ анатомическомъ театръ ему, въроятно, пришла впервые мысль того романа, гдъ анатомическія занятія играютъ весьма важную роль.

Съ окончаніемъ университетскихъ занятій, Веневитиновъ вступаль уже въ болъе широкую практическую жизнь. Но не шумными оргіями, не разгульнымъ самозабвеніемъ отпраздноваль онь свое вступление въ свъть. Изъ всъхъ, болъе или менъе блестящихъ карьеръ, открывавшихся ему по его имени и состоянію, онъ избраль самую скромную, поступивъ на службу въ Архивъ Коллегін Иностранныхъ Дѣлъ *). Развитый юноша не пленился привольной жизнью военнаго человека, еще такъ заманчивой въ то время и, безъ долгихъ колебаній, предпочель ей скромную архивскую службу, представлявшую возможность перейти, со временемъ, въ Коллегію Иностранныхъ Дѣлъ. Возъимъвши разъ такую надежду, нашъ поэтъ мало мечталъ о служебныхъ отличіяхъ, до съ особеннымъ удовольствіемъ подумываль о своей будущей побздкъ за границу въ русскомъ посольствъ, (полагая, въроятно, что «знающій одну свою родину, прочель только первую страницу книги вселенной >).

Конечно, не безъ глубокаго сознанія, Веневитиновъ рѣшился на этотъ выборъ. Его «Жертвоприношеніе» говорить довольно убъдительно, что и сходясь весьма близко съ прелестями разсвянной жизни, онъ всегда умёль предпочесть ей другую жизнь - трудовую и разумную. Благод втельное воспитаніе, которое получиль онь, объясняеть вполив удовлетворительно такой образъ мыслей. Нестёсненный никогда въ своемъ нормальномъ развитии давлениемъ грубой власти, Веневитиновъ не могъ чувствовать и того желанія закружиться, хватить черезъ край всякаго рода удовольствій, которое овладъваетъ иногда молодымъ человъкомъ, только что вырвавшимся на волю, получившимъ, послъ долгой и насильственной выдержки хотя первые задатки личной свободы. Другаго рода страсти безпрепятственно овладели теперь юношей: онъ сделался центромъ весьма замъчательного литературного кружка, въ который вошли, между прочими, И. В. Кир вевскій, А. И. Кошелевъ, П. С. Мальцовъ, князь Вл. О. Одоевскій, Н. М. Ро-

^{*)} Тогда еще не было Министерства Иностранныхъ Дълъ.

жалинъ, В. П. Титовъ, С. П. Шевыревъ и Ө. С. Хомяковъ *). Сюда же примкнулъ и нашъ извъстный историкъ М. П. Погодинъ, получившій уже въ то время степень магистра исторіи. Каждый вторникъ, вся названная молодежь, состоявшая большею частію изъ питомцевъ московскаго университетскаго пансіона, собиралась на домт къ Веневитинову — и здъсь то довершалось умственное развитіе поэта. Философское направленіе, только что возникавшее между образованнъйшими москвичами, преобладало въ этомъ кружкъ.

Медленно и робко пробиралась немецкая философія въ наши родные края. Кантъ уже имълъ въ Россіи нъсколькихъ, впрочемъ мало замъчательныхъ, послълователей, которыхъ имена сохранились, частію, въ «Словарв московскихъ профессоровъ» С. П. Шевырева. Въ русской журналистикъ еще недавно возникъ вопросъ: можно ли считать Карамзина ученикомъ знаменитаго критическаго философа? Отвътъ, конечно, послъдовалъ отрицательный.... Вообще говоря, философія Канта едва мелькнула на русской почев, не произведя въ умахъ особенно-сильнаго и замътнаго движенія. Другое дъло — философія Шеллинга, которой суждено было, въ первый разъ, создать въ Россіи новольно обширные, философско-литературные кружки. Мы не имъемъ смълости писать здъсь историю возникновенія въ Рос-, сін философскихъ кружковъ — предметь, требующій отдёльной ... монографін — но должны зам'єтить, что самое имя кружка, предполагая подъ нимъ достаточно сильную и хорошо организованную пропаганду, можеть быть впервые присвоено только последователямъ Шеллинга.

Въ Петербургѣ главнымъ представителемъ новаго ученія является извѣстный профессоръ Велланскій, въ Москвѣ — нававанный нами М. Г. Павловъ. Но такъ какъ Павловъ много превосходилъ Велланскаго по блеску и ясности своего изложенія, то и новое ученіе принялось успѣшнѣй въ Москвѣ, чѣмъ въ Петербургѣ. Впрочемъ, Москва какъ-то вообще склой-

^{*)} Мы рѣшительно не знаемъ: въ какихъ отношеніяхъ находился нашъ поэтъ къ А. С. Хомякову, младшему брату Θ —а Ст—ча. Этотъ пробѣдъ должны пополнить владѣющіе бумагами Ал. Ст—ча.

нъй Петербурга во всякаго рода кружкамъ: славянская общительность и охота ръшать всъ дъла міромъ нигдъ такъ не развита какъ въ нашей древней столицъ. «При первой встръчъ съ вами — говорилъ Бълинскій въ своей «Физіологіи Петербурга и Москвы» — москвичъ непремѣнно заспоритъ и только тогда начнетъ пронически улыбаться, когда увидитъ, что ваши миѣнія не сходятся съ миѣніями кружка, въ которомъ онъ ораторствуетъ или слушаетъ, какъ другіе ораторствуютъ». Хотя наблюденіе Бълинскаго и относится уже къ позднъйшему періоду московской жизни, но оно все же указываетъ на тѣ особенныя условія, при которыхъ умственныя вліянія принимаются въ Москвъ особенно горячо и шумно.

Философія Шеллинга была какъ нельзя болье сподручна мыслящимъ членамъ русскаго, а сльдовательно и московскаго общества. Не давая ни одного строго-опредъленнаго вывода, но, въ замънъ того, открывая необозримыя духовныя перспективы, сводя прямо всю философію къ одному спутреннему чувству, ученіе Шеллинга совершенно отвычало тому зачинавшемуся броженію русской мысли, которое еще не могло отлиться въ болье строгія и законченныя формы Гегелевой философіи *). Веневитиновъ быль однимъ изъ самыхъ видныхъ дъятелей своего философскаго кружка. Кромъ силы его ума, этому способствовали и другія его качества, которыя привле-

^{*)} Эпоха Шеллинговой философіи въ Россіи прекрасно изображена въ извѣстномъ сочиненіи кн. В. Ө. Одоевскаго, которому онъ далъ одно общее названіе: «Русскія Ночи». (Эти «Русскія Ночи» составляють первую часть сочиненій кн. Одоевскаго). «Вы не можете себѣ представить — говоритъ авторъ — какое дѣйствіе произвела въ свое время Шеллингова философія, какой толчокъ дала она людямъ, заснувшимъ подъ монотонный напѣвъ Локковыхъ рапсодій. Въ началѣ XIX вѣка, Шеллингъ былъ тѣмъ же, чѣмъ Христофоръ Колумбъ въ XV: онъ открылъ человѣку неизвѣстную часть его міра, о которой существовали только какія-то баснословныя преданія — его діяту. Какъ Христофоръ Колумбъ, онъ нашелъ не то, чего искалъ, какъ Христофоръ Колумбъ, онъ возбуждалъ надежды неисполнимыя — но, какъ Колумбъ, далъ новое направленіе дѣятельности человѣка! Всѣ бросились въ эту чудную, роскошную страпу: кто ради науки, кто изъ любопытства, кто для поживы. Одни вынесли оттуда много сокровищъ, другіе лишь обезьянъ да попугаєвъ; но многіе и потонули». (Русск. Ночи, стр. 15. Спб. 1844 г.).

кали къ нему людей почти съ первой же встрвчи. Его теплая, благородная душа была вполнъ цънима его друзьями, а блестящее остроуміе, не вездъ одинаково настроенное, но всегда удачно разънгрывавшееся въ пріятельскомъ обществъ, много оживляло ихъ систематическія засъданія. Съ любовью и глубокой грустью вспоминаль нашъ поэтъ объ этомъ близкомъ своему сердцу кружкъ, оторванный отъ него необходимостью.

Дружескія эти бесёды имёли самый разнообразный характеръ: тутъ выводились на сцену почти всв предметы человъческаго въдънія, всё затаенныя движенія человъческаго сердца. Мыслящіе юноши старались по всему провести свой философскій контроль: — подчинить разнородныя познанія одной стройной системь, свести различныя чувства въ одну гармоническую группу. Въ такой сложной и трудной работь, конечно не обхожилось иногда безъ фразъ и палишнихъ разсужденій, но, во всякомъ случай, общество молодыхъ, даровитыхъ подей, со всёмъ жаромъ своего возраста привязанныхъ къ своимъ благороднымъ цёлямъ, не могло вести безплодныхъ бесёдъ и ни къ чему не ведущихъ преній. Такъ напр., мы навърно знаемъ, что на этихъ дружескихъ сеймахъ весьма последовательно выработадась идея о необходимости такого журнала, который выполняль бы всь условія русскаго періодическаго изданія. Условія эти съ большою ясностью высказаны въ стать Веневитинова: «нъсколько мыслей въ планъ журнала», которая, въ видъ программы, была имъ прочтена на одномъ изъ литературныхъ вечеровъ. Въ ней высказывалось много светлыхъ мыслей насчеть характера русскаго просв'вщенія, русских журналовъ и возникшаго отсюда «чувства подражательности, которое самому таланту приносить въ дань не удивленіе, но рабольнство». Здесь же были прочтены Веневитиновымъ и другіе прозаическіе отрывки: «Скульптура, живопись и музыка». «Утро, полдень, вечеръ и ночь» и «Анаксагоръ». Содержание отрывковъ само показываетъ многосторонность и живой интересъ этихъ дружескихъ бесёдъ, запечатлённыхъ вполнё юношескимъ характеромъ, и придавшихъ этотъ характеръ и помянутымъ отрывкамъ. Последній изъ нихъ «Платонъ и Анаксагоръ»,

гдё высшая поэзія полагается въ философіи, для насъ интереснье другихъ, потому что въ немъ обнаруживаются разомъ и напряженность философскихъ занятій поэта, и сила поэтическаго дара, которымъ онъ могъ оживлять самыя отвлеченныя мысли.

Программу статьи: «Нѣсколько мыслей въ планъ журнала» взялся исполнить нѣсколько позже Московскій Вѣстникъ (изд. съ 1827 г.) *).

Веневитиновъ, по многимъ причинамъ, не могъ быть редакторомъ «Московскаго Въстника», но постоянно принимале въ немъ самое дъятельное участіе **). Его содъйствію обязант быль этотъ журналъ постояннымъ сотрудничествомъ Пушкина. Уже изъ Петербурга, Веневитиновъ просилъ въ одномъ письмъ: «сказать искренно, что говорятъ о Московскомъ Въстникъ». Въ другомъ мъстъ того же письма, онъ проситъ передать г. Погодину (редактору Въстника), что нехудо было бы пригласитъ въ сотрудники журнала — «Мицкевича, слывущаго за знатока литовскитъ древностей, латышскаго и древне-славянскаго языковъ». Также предлагалъ онъ «сразить въ конецъ треглавую петербургскую гидру: Пчелу, Архивъ и Сынъ Отечества», мира съ которыми, по его мнѣнію, не могло быть. «Въ полемикъ съ Телеграфомъ онъ совътывалъ быть осторожнъе, указывая на особенныя достоинства этого журнала» ***). «Скаже

^{*)} Воть какь говориль самь редакторь (М. Погодинь) объ изданіи Московскаго Вѣстника: «Московскій Вѣстникь издается не однимь мною, но многими, занимающимися русской литературою, кои, бывь движимы чистымь усердіемь къ общему благу, рѣшились соединить свои усилія прв этомь изданіи и принести общую жертву на алтарь отечественнаго просивщенія. Участвующіе вь изданіи журнала раздѣлили труды между собою: одни взяли на себя теорію изящныхь искусствь, другіе исторію и т. д. Мив поручена редакція, т. е. я, отвѣчая за все изданіе, должень приводить въ порядокь для помѣщенія въ книжкахь доставляемыя и всѣми нами одобренныя статьи». Такимь образомь, редакція журнала приняла впериме на Руси ковлегіальное устройство.

^{**)} Въ иссколькихъ строкахъ, присданныхъ изъ Петербурга при появлении 2-й песни Онегина (Моск. В. 1828, № 4), Вепевитиновъ прямо называетъ себя однимъ изъ издателей этого журнала.

^{***)} По смерти его, съ 1828 г., уже завяжались жаркія перестрыки между «Выстникомъ» и «Телеграфомъ».

Погодину — писалъ онъ А. В. В—нову въ письмъ отъ 24 января 1827 г. — чтобъ онъ не скупился, прибавилъ листочекъ къ журналу, а то онъ точно въ чахоткъ. Да что онъ не разнообразитъ его? я объ нихъ больше забочусь, чъмъ они о себъ». Совъты Веневитинова, большею частію, исполнялись — и современники оцънили прекрасное направленіе журнала. Даже Телеграфъ, забывъ на время свою обычную строгость и сухость похвалъ, говорилъ, что «Московскій Въстникъ обращаетъ на себя вниманіе не одною исправностью выхода книжекъ (достоинство далеко не послъднее въ то время), но и самымъ своимъ содержаніемъ, благонамъренностью критики, свъжестью статей». И такъ, мы будемъ вполнъ правы, если бросимъ впослъдствіи бъглый взглядъ на всю русскую журналистику и укажемъ въ ней мъсто этому новому органу.

Изъ всёхъ членовъ философскаго кружка, Веневитиновъ всего болъе сблизился съ И. В. Киръевскимъ и Н. М. Рожалинымъ, а изъ этихъ двухъ былъ наиболе влизокъ къ Рожалину *). Мы имъемъ очень мало свъдъній о Рожалинъ, но судя по немногимъ сохранившимся даннымъ, онъ имълъ, въ началъ своего знакомства, большое нравственное вліяніе на Веневитинова, нъсколько подобное вліянію П. И. Катенина, игравшаго важную роль въ умственной жизни Пушкина. Умный труженикь, знатокь нёмецкой и древне-классической литературы и партизанъ новаго, более жизненнаго направленія въ искусствъ, Рожалинъ скоро сталъ необходимъ для поэта, который, конечно, быстро сравнивался съ нимъ въ умственномъ развитіи. Природные инстинкты Веневитинова, отвлекавшіе его отъ застоя въ литератур'в и ложно-классическихъ авторитетовъ, были закрѣплены тщательнымъ изученіемъ Шекспира **), на котораго Рожалинъ, первый, настойчиво указалъ ему. Къ сожалению, мы иметь отъ Рожалина только

^{*)} Кромъ того, поэтъ нашъ быль се д ства шест женъ съ О. С. Хомяковымъ, но эта дружба, кажето друго больше карактеръ нъжной привязанности, чёмъ серьезнаго ум. Во 115 о одижету.

^{**)} По переводамъ Авг. Шатела стата в Виневитиновъ не зналъ англійство языка.

одни кропотливые переводы изъливмецкихъ писателей; но при всемъ усердномъ труженичествъ, составлявшемъ отличительную черту этого карактера, онъ не былъ лишенъ и того поэтическаго оттънка, который привлекалъ къ нему Веневитинова. Полной взаимностью отвъчалъ Рожалинъ нашему поэту и впослъдствіи, умирая въ чахоткъ, вспоминалъ о немъ *).

Еще меньше фактическихъ сведеній имень мы о дружбе поэта съ И. В. Кирфевскимъ, родоначальникомъ славянофильской школы, человъкомъ обширнаго ума и блестящей эрудиціи. Въ первой своей юности, лътъ 18-19-ти, молодой Киръевскій считался отъявленнымъ скептикомъ и приверженцемъ французскихъ энциклопедистовъ, но вдругъ, въ душъ, его произошла общительная реакція. Эта замбчательная психологическая черта невольно напоминаетъ намъ В. Г. Бъдинскаго, представителя противоположнаго направленія въ литературъ, котораго умственное развитіе шло совершенно обратнымъ путемъ.... Отвазавшись навсегда отъ своего шаткаго скептицизма, Кирвевскій безпрепятственно ударился въ мистицизмъ, который и стушеваль въ немъ самыя блестящія стороны дитературнаго таланта. Но въ этомъ мистицизмъ у него было много мысли и неподдъльной поэзін; его личная натура невольно очаровывала всёхъ своей теплою, любящей стороною — и этими-то качествами, онъ, безъ сомнънія, привлекалъ къ себъ и Веневитинова, всегда откликавшагося на зовъ открытой и благородной души.... Въ свою очередь, Кирфевскій быль сильно привязанъ къ своему другу и высоко оценилъ въ немъ, какъ его личную, безупречно-чистую натуру, такъ и быстро мужавшій литературный и поэтическій таланть. Любонытно, въ высшей степени, проследить отражение мыслей Киревскаго въ теоріи поздн'яйшихъ славянофиловъ. Философія Кирфевскаго сильно страдала недостаткомъ осязательныхъ выводовъ, отсутствіемъ опреділенныхъ очертаній — и, вслідствіе этого,

^{*)} Смерть настигла его, когда онъ, больной, только что вервулся изъ-за границы, гдв занимался изученіемъ филологіи. Онъ умеръ уже послѣ Дм. Вл—ча и, умирая, съ любовью распрашиваль о немъ; но отъ него скрыли смерть его друга. Рукописи Рожалина сгорѣли на станців.

легко сжималась въ самую тёсную и ограниченную доктрину. Замёчательна его статья въ первой книжке журнала «Европеецъ» (1832 г.)

Покончивъ съ философскимъ кружкомъ, въ которомъ Веневитиновъ былъ такимъ сильнымъ и полезнымъ дѣятелемъ,—мы перейдемъ теперь къ важнѣйшему событію въ жизни поэта, къ его первой, юношеской любви. Ученые труды п философскія бесѣды, конечно, не могли поглотить всего Веневитинова: его живая, страстная душа не могла остаться при одной жизни ума безъ жизни сердца, чтобы наконецъ представить въ юношѣ одного изъ тѣхъ раннихъ старичковъ, надъ которыми недавно такъ зло и немного ухарски подсмѣялся современный поэтъ *). Природная впечатлительность поэта не загасла въ этомъ раннемъ умственномъ развитіи — и вырвалась таки наружу въ горячей, страстной любви. Это случилось въ половинѣ 1825 г., т. е. когда Веневитинову было около 20 лѣтъ.

Справедливо говорять, что въ любви познается и раскривается вся нравственная натура человъка: деспоть въ душъ, какъ напр. Пушкинскій Алеко, проявить весь свой грубый деспотизмъ, лънивый Обломовъ взглянеть на свою страсть съ высоты своего дивана, дъловой Штольцъ признаетъ въ любви одинъ изъ движущихъ жизненныхъ элементовъ, нъжное и мягкое сердце потонетъ въ глубинъ своихъ ощущеній. Въ любви, такъ пламенно, почти безумно, охватившей нашего юношу, невольно выразились какъ его собственная, изящно-благородная натура, такъ и вся нравственная подготовка, которую прошель онъ до встръчи съ любимой женщиной.

Мы еще не имѣемъ права назвать положительно имя той, которая возбудила къ себѣ такую пылкую, но дѣтски-чистую страсть; впрочемъ два стихотворенія; «Элегія» и «Италія» нѣсколько изображають намъ личность любимой особы и характеръ любви къ ней Веневитинова. Изъ перваго мы узнаемъ, что она вернулась съ юга и «принесла въ очахъ цвѣть южнаго неба». Страсть, возбужденная ею, рисуется здѣсь уже во второмъ

^{*)} Нов. стихотв. Бенедиктова, стр. 27.

фазисъ своего развитія, когда, омраченная разлукою, она приняла мучительный и разъъдающій характеръ. Самъ поэтъ называетъ свое чувство «мучительнымъ и мятежнымъ огнемъ».

Второе стихотвореніе, гдё поэть надёстся посётить «отчизну вдохновенья» (Италія), позволяєть думать, что разсказы молодой путешественницы о дальней стороне были свёжи и увлекательны....

Но любимая особа была много старше и эрълъе нашего поэта, не могла отв'вчать его страсти съ одинаковой искренностью и теплотою, и, наконецъ, не могла приблизить его къ себъ до той границы, гдъ страсть регулируется чувствомъ обладанія и вообще принимаеть болье нормальные размъры: она была замужняя женщина! Впрочемъ, она оказывала большое внимание своему юному обожателю и даже подарила ему на память свой перстень, который и быль сбережень Веневитиновымъ до самой смерти. Но при этомъ она тщательно полагала предълы его дальнъйшимъ порывамъ и даже старалась внушить ему, что счастье, вообще, не благопріятствуетъ хоопшимъ дюдямъ и что ихъ удбяв — молча покоряться злосчастной судьбв. Впрочемъ, нашъ поэтъ не былъ особенно настойчивъ въ своихъ исканіяхъ.... и представилъ собой ужасный, хотя въ высшей степени симпатичный, примъръ сдержанно-молчаливаго, болъзненно-выстраданнаго чувства. Говорятъ, что натура этой женщины, недаромъ прозванной въ высшемъ кругу съверной Коринной, была весьма даровита и привлекательна, а потому и любовь къ ней Веневитинова продолжалась около двухъ лътъ; съ этой любовью Веневитиновъ сошелъ въ могилу, и, быть можеть, она много ускорила его раннюю смерть.

Но сверхъ этого сильнаго чувства, замыкавшаго собой всю нравственную жизнь поэта, московская жизнь подарила его знакомствомъ съ А. С. Пушкинымъ, который прівзжалъ въ 1826 году, по особымъ причинамъ, въ Москву. Еще живши въ Тригорскомъ, Пушкинъ узналъ Веневитинова по разбору первой пъсни Онъгина, написанному имъ въ протестъ противъ критики Телеграфа. По прівздъ въ Москву, Пушкинъ съ живостью, такъ ему свойственной, объявилъ г. Соболевскому, у котораго на время остановился, свое желаніе позна-

комиться съ авторомъ. «Это единственная статья — говорилъ А. С. — которую я прочелъ съ любовью и вниманіемъ. Все остальное — или брань, или переслащенная дичь *). (По поводу этой статьи. Веневитиновъ вступилъ въ довольно жаркую полемику съ Полевымъ). Въ домъ Соболевскаго Пушкинъ познакомился съ Веневитиновымъ, устроивъ литературную вечеринку для прочтенія Бориса Годунова и пригласивъ къ ней нашего поэта. Въ дом'в Веневитиновыхъ происходило на другой день вторичное чтеніе той же пьесы. Геніальный поэтъ не могь не замётить въ Веневитинове тёхъ особенныхъ достоинствъ, которыя такъ влекли къ нему всёхъ людей, знавшихъ его, -- и между ними весьма скоро началась довольно тесная дружба. Воть что говорить объ ихъ сближеніи извёстный біографъ Пушкина, П. В. Анненковъ: «Веневитиновъ принадлежаль къ тому кругу молодыхъ людей, которые искали въ наукъ и въ строгихъ занятіяхъ удовлетворенія своему благородному стремленію къ идеалу, добру и красотв. Вся его литературная деятельность проникнута этимъ стремленіемъ, и онъ имълъ свою долю вліянія на Пушкина.... Въ порывахъ Веневитинова къ истинъ, въ его томительномъ желаніи полноты знанія, даже въ нравственномъ упадкі силь, слідующемъ за напряжениемъ мысли и чувства, лежало много залоговъ будущности и развитія. За нѣсколько времени до смерти своей, Веневитиновъ написалъ «Посланіе Пушкину», въ которомъ призывалъ пъвца Байрона и Шенье — воспъть великаго германскаго старца Гёте, и Пушкинъ, въ то же время, создаль превосходную сцену, названную имъ: «Новая сцена между Фаустомъ и Мефистофелемъ», гдв онъ измвнилъ отчасти образы германскаго поэта.» (Матер. для біогр. Пушк., стр. 184-5). Конечно, и для Веневитинова не осталось безплоднымъ это кратковременное знакомство. Изъ «Посланія въ Пушкину» видно, что нашъ поэть былъ сильно увлеченъ талантомъ своего новаго друга.

Вскоръ однако приблизилось для Веневитинова время разлуки съ Москвой и милой особой, жившей тамъ. Въ Канце-

^{*)} Слова эти переданы намъ А. В. В-мъ.

лярін Коллегін Иностран. Діль (въ Петербургів) открылась вакансія — и въ началѣ октября 1826 г. нашъ поэтъ отправился туда съ прежней любовью и вновь начатымъ романомъ, отъ котораго сохранились нъсколько отрывковъ и планъ этого произведенія, расказанный въ предисловіи къ первому изданію сочиненій Веневитинова. Бутеневъ становился въ Петербургъ его ближайшимъ начальникомъ; О. С. Хомяковъ и французъ Воше, только что вернувшійся изъ Сибири, куда онъ сопровождалъ княгиню Трубецкую, были попутчиками Веневитинова въ дальней и скучной поездке — дальней потому, что тогда еще не было жельзной дороги, такъ ускоряющей сообщение между двумя столицами. Компанія Воше была причиною особенныхъ приключеній въ этомъ перевадь: какъ человъкъ, состоявшій въ близкихъ сношеніяхъ съ семействомъ ссыльнаго князя, онъ бросаль подозрительную тень на самаго Веневитинова, который и быль задержань подъ арестомъ на цёлую недёлю. Черезъ чуръ прямой и рёшительный отвътъ Веневитинова на нъкоторые предложенные ему запросы усложниль было дело, но оно скоро окончилось по самой пустотъ своего предлога. Проъздомъ чрезъ Новгородъ, Веневитиновъ вдохновился его грустной судьбой и написаль стихотвореніе названное именемъ вольнаго города (Новгородъ).

«Москву оставиль я какъ шальной — писалъ Веневитиновъ изъ Петербурга — не знаю, какъ не сошелъ съ ума». На просьбу своего корресподента — описать ему Петербургъ, онъ отвъчалъ, что «описывать Петербургъ не стоитъ. Хотя Москва и не даетъ объ немъ понятія, но онъ говоритъ болъе глазамъ, чъмъ сердцу» *). Любуясь Казанскимъ Соборомъ, поэтъ находилъ въ себъ склонность къ набожности: «я люблю, говоритъ онъ, церковь огромную и довольно величественную». Чувство изящнаго и необходимостъ сильнаго утъшенія, заодно развивали въ немъ эту склонность...... Таврическій Дворецъ, съ своей знаменитой залой и садомъ, скоро сдълался предметомъ частыхъ посъщеній поэта; особенно нравилась ему группа Лаокоона. Нева пальяла его, и это чувство онъ спъщилъ за-

^{*)} Выписки эти мы дёлаемъ изъ подлинныхъ писемъ Д. В. Веневитинова.

явить въ стихотвореніи: «Къ моей богинъ». Отсюда мы узнаемъ, что не разъ прогуливался нашъ поэтъ по берегамъ тихоструйной ръки, вспоминая Москву и виновницу того чувства, которое теперь отравлялось разлукой. «Объдаю за общимъ столомъ у Andrieux — писалъ онъ своему брату. Тамъ собираются говоруны и умники Петербурга. Я, разумбется, молчу и нужно прибавить, что я сталь очень молчаливь, съ тъхъ поръ, какъ тебя оставилъ». Здёсь поясняется одна, коренная черта въ характеръ Веневитинова: онъ не быль «говоруномъ». не любиль словесных турнировь, на которые иной боець задолго запасаеть стрелы и копья, и только съ близкими людьми могь вступать въ живой, одущевленный разговоръ. Въ этомъ случав, онъ быль, всегда, ввренъ тому пдеалу человіка, который самь начерталь въ стихотвореніи: «Поэтъ». Ему трудно было насиловать себя въ разговоръ и говорить о вещахъ, совершенно чуждихъ; темъ больше не дозволяль онь себв дожныхь и крикливых восторговь, которые строго осудиль въ стихотвореніи; «къ дюбителю музыки». Въ обществъ дамъ, преимущественно такихъ, которыя могли, сколько нибудь, затронуть въ немъ поэтическое чувство, эта особенная черта его характера выражалась въ крайней несмвлости и застънчивости обращенія. Одна дама, знавшая Веневитинова въ Петербургъ, разсказывала намъ: какъ нелегко было усадить молодаго поэта рядомъ съ красивой и симпатичной, но еще мало знакомой ему женщиной, какъ внезапно сказывалось это пріятное сосъдство во всей фигуръ юноши: въ робости его движеній, въ смягченныхъ звукахъ голоса, въ умныхъ и ласковыхъ глазахъ. Сюда примешивалось впрочемъ и другое свойство поэта — его почти-дътская стыдливость, которая доходила до того, что посылая своему брату стихотвореніе «Домовой», гдф говорится только намекомъ о ночныхъ похожденіяхъ сельской красавицы, поэтъ уб'вдительно просиль его «не показывать этой пьески въ дамскомъ обществв».

Разставшись съ любимой женщиной, Веневитиновъ еще больше замкнулся въ самомъ себъ, еще ръже дозволялъ себъ обнаруживать свои чувства. Всъ привязанности сердца, всъ восноминанія молодости, влекли его въ покинутый городъ, и

онь, съ полнымъ правомъ, указывалъ на себя Рожалину, какъ на жертву «многолюдной пустыни, не населенной ни единой душою». Въ письмахъ къ одному близкому лицу, онъ часто просиль передать поклонь любимой особь или нъкоторые изъ своихъ стиховъ. Въ Петербургъ, онъ встрътилъ одну, тоже весьма привлекательную женщину, но сердце его уже не было свободно и онъ говорилъ, что «любуется ей какъ Ифигеніей въ Тавридь, которая, мимоходомъ сказать, прекрасна». Спасаясь отъ горестнихъ воспоминаній, онъ думаль развлечь себя петербургскими маскарадами, самъ взжалъ замаскированный къ своимъ знакомымъ (при чемъ всегда былъ узнаваемъ цо необыкновенно-массивнымъ ступнямъ), — но все это нимало не усыпляло его жгучей боли, и на него находили даже минуты поливищаго отвращения къ жизни. Изъ всъхъ знакомствъ, заведенныхъ Веневитиновымь въ новомъ мъстъ, знакомство съ Гр. Л., Дельвигомъ и Козловымъ были для него пріятнъйшими. Въ дом' Гр. Л. онъ чаще всего проводилъ время, свободное отъ службы и литературныхъ занятій. Дельвигъ, благодаря своей прямой, честной натурь, «привлекавшей его къ возвышеннымъ пъвцамъ», скоро сдёлался любимымъ собесъдникомъ Веневитинова, и нерадко проводили они вмаста цалые вечера, «напъвая пъсни и швыряя другь въ друга стихами». Злъсь истати замътить, что въ минуту увлечения поэтъ нашъ быль самымь счастливымь импровизаторомь и часто даже сочиняль цёлую шутливую пьесу на того, кто затрогиваль въ немъ сатирическую жилу.

Кром'в Дельвига, нашлись и другіе претенденти на дружбу поэта. Два журналиста «увивались около него, какъ около липки» (по выраженію письма Веневитинова), но скоро однако потеряли надежду «добыть отъ него меду».

«Я дружусь съ моими дипломатическими занятіями» — писалъ Веневитиновъ въ декабръ 1826 г., пригоняемый къ нимъ горечью своей внутренней жизни. «Молю Бога, чтобы поскоръе былъ миръ съ Персіей: хочу отправиться туда и на свободъ пътъ съ восточными соловьями». Судьба не дала ему дожить до той печальной катострофы, которой вскоръ подверглось наше персидское посольство: она уже готовила ему болъе ран-

нюю, но мирную смерть. — Таланты молодаго человъка и его усердіе къ службѣ были скоро замѣчены Гр. Лавалемъ, поручавшимъ его перу самыя важныя бумаги. По его же приглашенію, Веневитиновъ разбиралъ сцену изъ Бориса Годунова, назначая свой разборъ въ Journal de St.-Petersbourg (Analyse d'une scène détachée de la tragédie de Mr. Pouchkin); но еще нерѣшенная въ то время участь Пушкина помѣшала этой статъѣ явиться въ полуоффиціальной газетѣ. Когда же пронесся слухъ, что г. Улыбышевъ собирается бранитъ эту сцену, то Веневитиновъ надѣялся опять приняться за перо. «Я очнию перышко — говорилъ онъ — и мы перевѣдаемся».

«Не смотря на множество занятій — сообщаль онъ въ декабрыскомъ письмѣ — я все таки нахожу время писать». Время онъ дъйствительно находиль: большая и лучшая часть его произведеній написана имъ въ эту пору, что об'вщало въ немъ значительно-плодовитаго писателя. Сюда относится: «Поэтъ», первое стихотвореніе, присланное имъ изъ Пстербурга и всъ стихотворенія, помъщенныя въ старомъ изланіи послъ него. Характеръ этихъ произведеній весьма замычателенъ: въ нихъ вполнъ выразились тъ внутреннія боренія, тотъ невольный скептицизмъ и временная апатія къ жизни, которымъ суждено было вторгнуться въ мирную и невозмущаемую жизнь поэта. Къ несчастной любви, какъ къ одному сборному пункту, присоединились всв прежнія, едва зачинавшіяся. сомнънія, всв неудовлетворенные вопросы ума, поднявшіеся, кажется, еще во время изученія анатомін (слабый намекъ на это мы находимъ въ программв неоконченнаго романа): словомъ, все то, что нарушаетъ дътски-чистыя върованія, принося въ замёнъ ихъ или вёчную душевную пустоту или новыя, уже болье строгія и закаленныя убъжденія. Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, «Жизнь», Веневитиновъ прямо говорить, что жизнь опостымла ему, и что ея загадка уже становится ему скучна, какъ повторяемая сказка на сонъ грядущій. Въ другомъ «Поэть и другь», онъ влагаеть въ уста друга скептическую рёчь о ничтожествё загробной славы. «Что за гробомъ — то не наше» говорить другь, встрвчая впрочемъ возраженія со стороны поэта.

Но рядомъ съ этими признаками нравственнаго упадка мы встрвчаемъ, въ его произведеніяхъ, другіе звучные и могучіе аккорды, которые ясно указывали: какой свётлый и сильный характеръ долженъ былъ выработаться въ поэтвивъ этого хаоса тревожныхъ сомнёній. Всего замёчательнёй въ этомъ отношеніи стихотвореніе, начинающееся такъ:

Я чувствую, во мит горитъ Святое пламя вдохновенья....

Въ немъ какъ бы предчувствовалось освобождение поэта отъ всъхъ исключительныхъ привязанностей, въ пользу свътлой, глубоко-поэтической созерцательности. Онъ уже недоволенъ однимъ узкимъ чувствомъ, стъсияющимъ его нравственный горизонтъ, но хочетъ обнять всю природу и въ свободномъ вдохновения воспроизводить каждый ея фактъ, достойный творческаго воспроизведения. Но эти полные и стройные звуки заглушались пока воплями растерзаннаго сердца, которые вылились особенно сильно въ двухъ пьесахъ: «Завъщаніе» и «Къ моему перстню»

Стихотвореніе «Поэтъ и другъ», написанное Веневитиновимъ невадолго до своей смерти, подъ вліяніемъ какого-то пророческаго предчувствія, должно остановить на себѣ все вниманіе біографа. Здѣсь, въ лицѣ Поэта, мы узнаемъ самаго Веневитинова въ сокровеннѣйшихъ движеніяхъ его сердца. Вспомнимъ строфу:

Душа сказала мић давно: Ты въ мірѣ молніей промчишься, Тебѣ все чувствовать дано, Но жизнью ты не насладишься!

Но поэть твердо въруеть, что

Тому, кто жребій довершиль, Потеря жизни не утрата.....

Пьеса: «Земная участь и аповеоза художника», хотя заимствована у Гёте, но также рельефно рисуеть душевное настроеніе поэта. Въ ней замѣтно пробивается оттвнокъ неудовлетвореннаго чувства. Въ концѣ пьесы, художникъ говорить музѣ, показывая на своего ученика:

> Молю тебя, подруга не земная, Здёсь на землё не забывай его.

Пока уста дрожать еще лобзаньемъ, Пока душа волнуется желаньемъ — Да вкусить онъ вполнѣ твою любовь! Вѣнокъ ему на небѣ уготовь, Но здѣсь подай сосудъ очарованья, Безъ яда слезъ, безъ примѣси страданья!

Въ февралъ 1827 г. мы застаемъ Веневитинова за новой работой, которой, по словамъ его письма, ръшался весьма важный вопросъ: «долженъ ли онъ слъдовать влеченію къ поэзіи или побороть въ себъ эту страсть»? къ сожальнію, мы рышительно не можемъ сказать: какому это произведенію выпадала такая важная роль въ жизни поэта? Романъ, начатый Веневитиновымъ въ Москвъ, тоже подвигался впередъ. Изъ отрывка, уцълъвшаго отъ этого романа, мы видимъ еще яснъе, что для поэта проходила уже пора безотчетных мученій любви. Усиленная работа мысли, укръпленной и направленной опытомъ, уже привела его въ рубежу юношеской страсти — строгой наблюдательности и безъисключительному анализу всякого чувства. Поэтъ уже не удовлетворялся «первымъ идеаломъ своимъ, тъмъ образомъ, въ который выливаль всю душу» и ясно провидёль третью эпоху жизни, которую назваль «Эпохой думъ». Но физическія силы поэта, какъ ни были значительны, не вынесли такой жгучей внутренней работы и сломились въ ожиданьи обновляющаго кризиса. За мъсяцъ до кончины поэта, г. Стурдза видълъ на его лицъ признаки органического разрушенія: «я видълъ Веневитинова — говориль онъ впоследстви О. Хомякову — и съ первой же встречи призналь въ немъ необыкновенныя дарованія, но туть же замётиль я на его лицё признаки скорой смерти», Еще бъдный поэтъ мечталъ о поъздкъ въ Маъ мъсяцъ въ Ревель и Финляндію, какъ вдругъ неотразимая бользнь уложила его въ постель. Ближайшимъ поволомъ къ этой бользни было следующее обстоятельство. Веневитиновъ жилъ въ доме В. С. Ланскаго (въ верхнемъ этажъ надворнаго флигеля) и быль хорошо принять въ семействъ своего домохозяина. Разъ у Л-хъ устроился маленькій вечеръ съ танцами, на который приглашенъ былъ и Веневитиновъ. Послъ танцевъ, въ которыхъ принималъ большое участіе, — поэтъ нашъ не поостерегся и, распотвини, перебъжаль черезь дворь въ свою квартиру, въ едва накинутой шинели. Въ это время, ночью, стояль большой холодъ, съ примъсью обычной въ Петербургъ сырости—и балтійскій климатъ наградилъ жесточайшимъ тифомъ неосторожнаго новичка *). Жестокая болъзнь продолжалась, по показанію однихъ писемъ, до 5-и, а по другимъ даже до 9-и дней. Докторъ Раухъ, славный въ то время въ Петербургъ, дечилъ больнаго, но безъ успъха, и 15-го марта 1827 г. Веневитиновъ скончался на рукахъ Ө. Хомякова и другихъ близкихъ людей. Передъ смертью, Веневитинова всего болъе мучило то, что онъ не могъ писать къ нъжно-любимой имъ матери. «Ахъ, Боже мой! какъ я виноватъ передъ матушкой: не могу двухъ строкъ написать!» повторялъ онъ неоднократно.

Въсть о его смерти поразила ужасомъ всъхъ его родныхъ и знакомыхъ. Просмотръвъ различныя письма, писанных по этому печальному поводу и исполненныя, почти одинаковой скорби и горечи, нельзя не убъдиться, что только глубокочестная, любящая и обаятельная душа могла возбудить такія сходныя чувства. Отъ матери долго скрывали ея потерю, Хомяковъ (Ө. С.) заболъль отъ горести. Выражая свою любовь къ покойному, одна дама писала, что чувство невольно сообщалось всъмъ знавшимъ его». «Душа разрывается — писалъ кн. Од. — я плачу, какъ ребенокъ!» Тъло Веневитинова било перевезено въ Москву, и вотъ какой эпитафіей почтилъ его старикъ-Дмитріевъ:

Здёсь юноша лежить подъ хладною доской, — Надъ нею роза дышеть — А старость дряхлою рукой Ему надгробье пишеть!

На могильной плить (въ Симоновомъ монастырь) выръзана краткая надпись: «Какъ зналъ онъ жизнь, какъ мало жиль!» Comment donc vous l'avez laissé mourir? (какъвы допустили его умереть?), съ горестью, говорилъ Пушкинъ друзьямъ покойнаго....

^{*)} Свёдёніе это, а равно и предсмертныя слова Веневитинова, переданы намъ Кн. Вл. О. Одоевскимъ, который часто навёщаль поэта во время болёвни.

II.

Смерть Веневитинова, уже привлекшаго къ себъ живое сочувствіе публики, была встрічена въ литературі самыми искренними и глубокими сожальніями. Въ «Московскомъ Въстникъ (1827 г. № VII), въ выноскъ, слъдовавшей за стихотвореніемъ: «Поэтъ и Другъ», было сказано отъ имени издателей журнала: «Горькими слезами омочили мы это стихотвореніе. Незабвенный другь нашь, чудеснымь образомь, предрекъ свою судьбу. Черезъ недълю послъ отправленыя изъ Петербурга этого стихотворенія, онъ (на 22-мъ году отъ роду) занемогъ нервическою горячкою, которая въ восемь дней свела его въ могилу *). Оставшіяся его сочиненія показывають: чего должны были ожидать отъ него науки и отечество. Друзьямъ его не имъть уже полнаго счастія Можно вполнъ повърить искренности этихъ последнихъ словъ, подтверждающихъ только то вліяніе и значеніе Веневптинова въ своемъ кружкі, которое старадись мы изобразить въ нашемъ біографическомъ очеркв. Два года спустя, это чувство горячей любви и уваженія къ усопшему поэту выразилось еще горячьй и восторженный вы стать В. Кир вевскаго (Денница 1830 г. Обозр. слов. за 1829 г.).

«Среди молодыхъ русскихъ поэтовъ — говорилъ авторъ — напитанныхъ великими идеями германскихъ писателей, болъе всъхъ блестълъ и отличался покойный Д. В. Веневитиновъ, котораго стихотворенія вышли въ 1828 г. Его желаніе исполнилось: прочтя немногое, что осталось намъ послъ него, кто не скажетъ съ чувствомъ восторга и печали:

Какъ я люблю его созданья!...

Веневитиновъ созданъ быль дъйствовать сильно на просвъщеніе своего отечества, быть украшеніемъ его поэзіи и, можетъ

^{*)} Свідінія эти несовсімь точни.

быть, создателемь его философіи. Кто вдумается съ любовью въ сочиненія Веневитинова, кто въ этихъ разнородныхъ отрывкахъ найдетъ слѣды общаго имъ происхожденія, кто постигнетъ глубину его мыслей, связанныхъ стройной жітнью души поэтической — тотъ узпаетъ философа, проникъ таго откровеніемъ своего вѣка, тотъ узнаетъ поэта глубокаго и самобытнаго, котораго каждое слово освѣщено мыслью, каждая мысль согрѣта сердцемъ».

Но не одна только дружба бросила благодарственные цвъты на эту раннюю могилу: почти всѣ современные журналы, не исключая и «Телеграфа», забывшаго на этотъ разъ свою личную ссору съ покойнымъ авторомъ, спѣшили выразить свое уваженіе къ необыкновеннымъ дарованіямъ Веневптинова. Одинъ изъ дучшихъ критиковъ своего времени, Н. И. Надеждинъ, такъ говорилъ о немъ въ «Телескопъ», при выходъ второй (прозаической) части его сочиненій (Телеск, 1831 г.): «Незабвенный юноша быль создань поэтомь и душа его, рано угадавшая свое призваніе, высказала себя мелодическими прелюдіями, которымъ судьба, по неиспов'єдимымъ своимъ сов'ьтамъ, не дали разръшиться въ полную гармонію. Но и тъхъ недоконченныхъ звуковъ, которые первенцами срывались съ его девственной лиры, слишкомъ достаточно, чтобы дать почувствовать цвну утраты, понесенной съ его преждевременной смертью. Веневитиновъ объщаль въ себъ то блаженное соединеніе свъта и теплоты, ту гармонію красоты и истины, которая одна составляеть печать истинной поэзіи».

Отзывъ Надеждина, какъ и всѣ современные ему и затѣмъ позднѣйшіе отзывы, составляетъ только слабое повтореніе мысли Кирѣевскаго, высказанной со всѣмъ искреннимъ увлеченіемъ любящаго сердца. Чтобы дать полную сплу и стойкость такому отзыву, до сихъ поръ недоставало только одного — и самаго главнаго: желанія прослѣдить умственное развитіе поэта по тѣмъ немногимъ, но цѣннымъ отрывкамъ, которые сокранились въ изданіи его сочиненій, поставить на видъ тѣ малозамѣченныя красоты его поэтическихъ произведеній, которыя прошли безъ особаго вниманія по причинѣ своей немногочисленности и разрозненности. При внимательномъ изу-

ченіи немногочисленных произведеній Веневитинова, намъ легко убъдиться, что ихъ краткость и отрывочность не мъщають найти следы общаго, присущаго имъ духа, что этихъ необильныхъ матеріаловъ достаточно для спокойной и непреувеличенной опънки одного изъ передовихъ людей своего времени. Начнемъ съ прозы. Въ этомъ отделе, кроме незначительныхъ отрывковъ, о которыхъ мы упомянули въ біографическомъ очеркъ, мы находимъ: «Письмо о философіи», «нъсколько мыслей въ иланъ журнала», критическую статью о Борисв Годуновв (на франц. языкі, критическій разборъ «Разсужденія» Мерзлякова, приложеннаго къ его «Переводамъ и Подражаніямъ» (Москва, 1825 г.), наконецъ разборъ 1-й пъсни Евгенія Оньгина, писанный по поводу мижнія о ней Телеграфа (Телегр. 1825 г. № 5), откуда и возникла весьма интересная полемика между Веневитиновымъ и Полевымъ — полемика, къ сожалънію, невошедшая въ собраніе сочиненій Веневитинова (Телегр. 1825 г. № XV и Сынъ Отеч. 1825 г. № XXIV). Въ нашемъ «Очерев» мы старались показать, что поэть нашъ быль однимъ изъ сильныхъ двигателей философскаго образованія въ Россіи, что онъ составляль собой центръ перваго философскаго кружка въ Россіи, имфвшаго немаловажное вліяніе на общество и что, наконець, въ немъ самомъ философскія возврвнія совершенно лишились своей догматической отвлеченности, войдя, такъ сказать, въ самую ткань его жизни. Эта последняя мысль, какъ нельзя лучше, подтверждается въ пись**и**в о философіи и въ отрывив, носящемъ названіе: «Платонъ и Анаксагоръ». «Письмо о философіи» представляеть намъ зажъчательный примъръ ясности изложенія: такъ могъ говорить только тоть, кто, действительно претвориль въ свою плоть и кровь отвлеченныя воззранія философіи.

«Начиная свои письма, говорить Веневитиновь, я прошу васъ не забывать одного условія—и воть оно: если я на одну минуту перестану быть яснымь, то изорвите мои письма, запретите мив писать объ этомъ предметв.» Эта последняя фраза рисуеть намъ весь характерь письма: она такъ решительна, въ ней столько любви къ делу и уверенности въ силъ и прозрачности философскаго ученія, что ею, по справедливости, можно начать новый періодъ философской пропаганды въ Россіи.

Въ этомъ «Письмѣ», конечно, далеко не исчерпана вся сущность философіи: — оно далеко не претендуеть на такую громадную роль, но оно заслуживаеть всего нашего вниманія. какъ первый удачный опыть свести философію съ ходуль педантизма и нѣмецкой терминологіи. Изъ всѣхъ сложныхъ определеній философіи, авторъ выбраль одно, простейшее и наиболъе доступное для пониманія тогдашняго общества и изложиль его такъ просто, логично и последовательно, что мы, съ нъкоторымъ удивленіемъ, вспоминаемъ годъ появленія статьи (она написана въ 1825 году), когда философія была еще у насъ совершенной Изидой, подъ самымъ непрозрачнымъ покрываломъ, и выражалась тяжелымъ языкомъ д-ра Велланскаго. Въ своихъ последующихъ письмахъ, Веневитиновъ хотыль представить весь сжатый курсь философіи, хотыль показать: какъ всв науки сводятся на философію и изъ нея обратно выводятся»; при этомъ онъ, по всей въроятности, нечувствительно раздвигаль бы и самое определение философіи. Судьба не дозволила ему окончить этотъ полезный трудъ популяризированія философскихъ понятій, но его ув'тренность въ ихъ несомивниомъ, хотя и отдаленномъ, торжествъ надъ всвиъ нравственнымъ міромъ внушила ему следующія строки: «Верь мив -- говорить Платонъ въ названномъ нами отрывкв «Платонъ и Анаксагоръ» — она снова будетъ, эта эпоха счастія, о которой мечтають смертные. Нравственная свобода будеть общимъ удъломъ: всв познанія человъка сольются въ одну идею о человъкъ, всъ отрасли наукъ сольются въ одну науку самопознанія. Что до времени! Насъ давно не станетъ, но меня утвіпаеть эта мысль. Умъ мой гордится твмъ, что ее предузнаваль и, можеть быть, ускориль будущее. Тогда пусть сбудется древнее египетское пророчество: пусть солнце поглотить нашу планету, пусть враждебныя стихи расхитять разнородныя части ее составляющія! Она исчезнеть, но, совершивъ свое предназначение, исчезнетъ какъ ясный звукъ въ гармоніи вселенной.>

То же философское настроеніе, то же пилкое, юношеское

желаніе — оживотворять идеей всякое человіческое діло и начинаніе, видны въ журнальной и критической дівятельности Д. В. Веневитинова. Мы уже говорили, что идея основанія «Московскаго Въстника» принадлежитъ нашему поэту, и что онъ положиль огромную долю своего вліянія въ посл'єдующее осуществленіе этой мысли. Еслибъ мы не знали навърное, что статья Веневитинова именно служила программой «Московскаго Въстника», то нетрудно было бы убъдиться въ этомъ, сличивъ ее съ характеромъ и содержаніемъ самаго журнала. Тѣ же попытки поставить критику на твердыя эстетическія основанія, изведя ее изъ хаоса романтическихъ бредней, то же намърение основательно познакомить публику съ лучшими произведеніями иностранной, въ особенности нъмецкой литературы, то же дъленіе журнала на части: теоретическую п практическую (см. объявленіе о Моск. Вёд. въ Сёв. Ич. 1826 г. въ конце года), наконець то же постоянное стремление охватывать частные случан одной всеобъемлющей идеей — вотъ существенныя принадлежности этого журнала. Явленіе же «Московскаго Вѣстника мы считаемъ на столько серьезнымъ и многозначительнымъ въ русской литературъ, что для внимательной его оцънки, должны дозволить себъ нъкоторое отступление и бросить бъглый взглядъ на все развитіе журналистики въ Россіи.

Лирика и сатира — суть двѣ существенныя стороны нашей литературы 18-го вѣка, не считая здѣсь драмы, которая была тогда явленіемъ внѣшнимъ и случайнымъ *). Въ лирикѣ и сатирѣ видна уже разумность ихъ появленія въ русской литературѣ: ода выражала патріотическіе восторги Петровыхъ нослѣдователей, славила побѣды русскаго оружія, отвывалась на успѣхи реформы; сатира помогала дѣлу преобразованія болѣе или менѣе рѣзкими нападками на пороки современнаго общества. Кантемиръ явился у насъ первымъ, по времени, представителемъ сатприческаго направленія русской литературы, но всего полнѣе и многостороннѣе направленіе это выразилось въ дѣятельности другаго извѣстнаго писателя — А. П. Сумароковъ Плодовитый авторъ, Сумароковъ писалъ комедіп,

^{*)} Сумароковъ и современная ему критика. Н. Булича. Спб. 1854 г.

• сатиры, басни: думаль соперничать съ Вольтеромъ въ силъ и влюсти своей насмёшки, и, наконець, много солвиствоваль развитію русской журналистики. Говоря фактически, русская журналистика началась еще изданіемъ Миллера: «Ежемъсячныя сочиненія къ пользі и увеселенію служащія, которое и продолжалось, мёняя названія, съ 1755 по 1764 годъ. Уже по примъру Миллера, Сумароковъ издавалъ въ 1759 г. свою «Трудолюбивую Пчелу», — но здёсь сатирическій элементь, заключавшійся отчасти и въ «Ежемфсячныхъ Сочиненіяхъ». приняль более широкіе размеры и сообщиль некоторое оживленіе журналу, ближе поставивъ его къ вопросамъ окружавшей дъйствительности. Въ подражание «Ичелъ», возникли и въ Москвъ различныя періодическія изданія, какъ напр. «Полезное Увеселеніе» (съ 1760 г.) «Невинное Упражненіе» и др. Но вся эта журналистика еще не имфла того рфзко определеннаго характера, который, съ 1769 г., выразился въ целомъ рядъ сатирическихъ *) журналовъ. По своему основному характеру, журналы эти тёсно примыкали къ тому направленію, которое Сумароковъ, всей своей дізтельностью, поддерживаль въ русской литературь, и, вследствіе этого, при каждомъ удобномъ случав, расточали большія похвалы своему патрону. По мивнію г. Булича **), Сумароковъ даже лично участвоваль въ некоторыхъ изъ этихъ изданій. «Трутень», издававшійся Н. И. Новиковымъ (съ мая 1769 года), названіе котораго чуть ли не составляеть намека на «Трудолюбивую Пчелу» Сумарокова, быль самымь смёлымь и даровитымъ представителемъ сатирическаго направленія русской журналистики и, въ этомъ отношеніи, онъ далеко превосходиль самого Сумарокова ***).

^{*)} О сатирическихъ журналахъ см. прекрасное изслѣдованіе г. Аванасьева. Москва 1859 г.

^{**) «}Сумароковъ и современная ему критика».

^{***)} Журналь этоть представляеть весьма интересный предметь для изучены. Можно думать, что рёзкость его тона не понравилась Екатеринё II, а въ особенности некоторымь изъ ея приближенныхь, потому что черезъ годъ (въ 1770 г.) Трутень значительно смягчиль свою рёзкость и ядовитость. Уже въ осьмомъ своемъ листке (поня 16-го дня), т. е. черезъ месящъ

Съ теченіемъ времени и съ измѣненіемъ общественныхъ потребностей, сатирическій элементъ въ журналахъ естественно долженъ былъ поблекнуть, хотя никогда не терялъ совершенно своего значенія. Дѣятельность типографщика Новикова не прошла безслѣдно въ нашей общественной жизни: до него, въ Москвѣ было двѣ книжныхъ лавки, продававшихъ въ годъ книгъ на сумму 10-и тысячъ рублей — при немъ число ихъ возрасло до 20-и, и всѣ вмѣстѣ онѣ уже выручали ежегодно до 200,000 руб. (Вѣстн. Евр. 1802 г. № 9). Новиковъ поднялъ число подписчиковъ на Московскія Вѣдомости отъ 600 до 4,000, выдавалъ безденежно при вѣдомостяхъ «Дѣтское чтеніе» (ibid), словомъ, образовалъ уже нѣчто въ родѣ «публики» приготовивъ такимъ образомъ сферу для дѣятельности Карамзина.

Карамзину, преобразователю русскаго языка, выпало на долю преобразовать и русскую журналистику. Его «Московскій Журналь» (съ 1791 г.), въ которомъ, съ первой же книжки, стали помѣщаться знаменитыя въ свое время «Письма русствато путешественника», уже совершенно отвѣчаль всѣмъ умственнымъ потребностямъ общества, не вдаваясь притомъ въ одно исключительное направленіе. «Множество иностранныхъ журналовъ — писалъ издатель въ своемъ «предувѣдомленіи» къ первой книжкѣ — лежитъ у меня передъ глазами: ни одинъ не возьму я за точный образецъ, но всѣми буду пользоваться». И дѣйствительно, московскій журналъ представилъ та-

мо возникновеніи журнала, издатель жалуется, что многіе знаменитме бояре приняли его насмѣшки на свой счеть. Вѣроятно это были тѣ «большіе бояре, которые — по словамъ Трутня — угнетають истину, правосудіе, честь, добродѣтель и человѣчество», и съ которыми, «хуже имѣть дѣло, чѣмъ съ лютымъ тигромъ». Трутень не оставляль въ покоѣ и тѣхъ молодыхъ дворянъ, которые встають рано для того, чтобъ просидѣвъ три или четыре часа надъ уборомъ головы и отягчивъ оную саломъ и пудрою, шататься по переднимъ знатныхъ баръ» (Трут. 1769 г. стр. 54). Кромѣ того, Трутень разсказываль цѣлыя событія со всѣми признаками достовѣрности (какъ напр., разсказъ о барынѣ, укравшей «серебрянныя сѣтки» йзъ кунеческой лавки — (Трут. 1769 г., стр. 52), и вообще онъ далеко простиралъ свою личную критику.

кимъ образомъ смёсь легкаго, пріятнаго и разнообразнаго чтенія, вполн'в приспособленнаго ко вкусу и потребностямъ начинающей читать публики. По этому самому, въ немъ не было и не могло быть того объединяющаго, критическаго начала, которое даетъ цвътъ и одно опредъленное направленіе журналу, существенно отличая его отъ простаго сборника, или литературнаго tutti-frutti. Карамзинъ былъ у насъ первымъ миссіонеромъ европейскаго просв'єщенія, въ самомъ тесномъ и азбучномъ смысле, и скользя въ «Письмахъ русскаго путешественника» по одной только поверхности европейской жизни, онъ естественно, не могь дать много воли критическому элементу и быть очень разборчивымъ въ выборъ матеріаловъ для своего журнала. Переводъ изъ Мармонтеля, исповъдь Бъдной Лизы, вызывавшая на нъжныя ощущенія, были для него дороже всякаго строгаго анализа литературныхъ и общественныхъ явленій. Ръдко заговаривалъ Карамвинъ о русскихъ книгахъ, издававшихся «во градъ св. Петра», говорилъ чаще объ иностранныхъ: но ни здъсь, ни тамъ, не обнаруживаль критического взгляда, придираясь къ словамъ и останавливаясь преимущественно на мелочахъ. Эклектизмъ быль въ духв несложившагося общества — и онъ то объясняеть собой характерь и назначенье «Московскаго Журнала». Наскучивъ срочнымъ изданіемъ, интересовавшимъ публику больше статьями самаго издателя, Карамзинъ началъ издавать литературные альманахи (Аглая, Аониды), которые могли бы, въ болъе тъсномъ объемъ, производить то же вліяніе на общество. Выйдя снова на арену журналистики (въ 1802 г.), Карамзинъ добавилъ уже въ свой «Въстникъ Европы» новый отдёль «политики», по прежнему, обращая мало вниманія на критическій элементь въ журналь.

Примѣръ Карамзина вызвалъ много подражателей, и, къ 1813 году, въ русской литературѣ появилось уже изрядное количество разныхъ журналовъ, болѣе или менѣе, близкихъ по духу къ своему первообразу — «Московскому Журналу». Только «Цвѣтникъ» Бенитцкаго оказалъ болѣе настойчивыя, но все же очень слабыя попытки литературной критики....

Между твмъ, мирная жизнь русской публики нарушилась новыми, неожиданными волненіями: въ 1813-14 годахъ, въ русскую журналистику начали пробиваться темные слухи о какомъ-то романтизмв, а въ 1815 г., въ «Россійскомъ Музеумв» В. Измайлова, начали уже печататься лицейскія стихотворенія А. С. Пушкина. Критика становилась необходимой, и классицизмъ, взявъ въ руки оружіе, уже помъстилъ въ «Духъ Журналовъ грозную статью противъ Августа Шлегеля. Вторженіе романтизма совпало со многими счастливыми для Россіи событіями: въ немъ выразился косвенно прогрессъ общественной жизни, который долгое время выражался у насъ въ сферъ чисто-литературныхъ мнъній, не имъя возможности зажватить бол'ве живые ч практические вопросы. Двинадцатый годъ столкнулъ насъ дицомъ къ лицу съ Европою, а начало царствованія Александра I благод втельно отозвалось въ нашей внутренней жизни. Общество заговорило, задвигалось; въ литературь послышались новые, свыже голоса, и въ 1820 году была уже напечатана первая поэма Пушкина — «Русланъ и Людмила» — боевая перчатка, брошенная классицизму новымъ литературнымъ поколъніемъ. Публика приняла поэму съ восторгомъ, но большинство журналовъ не раздёляло ея увлеченій и «Въстникъ Европы», уже перешедшій подъ редакцію Каченовскаго, прямо объявиль всю поэму «грубой и отвратительной шуткой, не одобряемой просвещеннымъ вкусомъ> (В. Евр., 1820 г., т. СХІ, стр. 216—220). Здёсь началась та горячая, необдуманная, продолжительная полемика между классицизмомъ и романтизмомъ, въ которой, не отдавая себъ отчета, долго принимали участіе всі современные журналы. Прежде всего, въ этой борьбъ, обнаружилось крайнее безсиліе и даже омертвение тогдашней наличной журналистики, не умевшей не только вызывать общественныя потребности, но даже удовлетворять ихъ и регулировать. Наша журналистика очевидно дозводила обогнать себя текущимъ интересамъ общества и становилась какимъ-то онъмълымъ членомъ на его тълъ. Нужна была личность, которая бы лучше съумъла воспользоваться этимъ органомъ общественнаго развитія, ввести его въ нужды и стремденія общества и тамъ закрапить его право на существованіе и большій объемъ д'яйствія. Этой потребности удовлетворилъ Н. А. Полевой, когда началъ въ 1825 г. издавать свой «Московскій Телеграфъ». Воть какъ понималь самъ издатель цёль своего изданія: «Для изображенія совершеннаго журнала — говорилъ Полевой въ своемъ письмъ къ N. N., въ первой книжкъ «Телеграфа» — вообразите зеркало, въ которомъ отражается весь міръ нравственный, политическій и физическій. Такой журналь едва ли не болье многихь книгь принесеть пользы. Не всё могуть удёлять время на чтеніе огромных томовъ: многіе ли привыкли къ обдуманному, систематическому чтенію? Здівсь преимущество на сторонів журналовъ: истинио-полезное, истинно-изящное, предлагаетъ вамъ журналисть, не пугая обширными определеніями, пестротой выписокъ, толщиной книги. Журналистика должна пользоваться важнымъ преимуществомъ своимъ — представлять отчетныя извлеченія изъ всёхъ книгь любопытныхъ и важныхъ и увъдомлять читателей обо всемъ, что слышно новаго. Журналисть-разнощикъ въстей: встричаясь съ нимъ, не спрашивають, что вы знаете, но нъть ли чего нибудь новаго? Вотъ почему я полагаю критику однимъ изъ важнъйшихъ отдъденій журнала — пусть только она будеть умна, правдива, дъльна. Присовокупите къ этому избранныя новости литературныя, важнёйшія новости въ наукахъ, искусствахъ и художествахъ, обзоръ всеобщаго просвъщенія — и умъйте предлагать это не односторонно, разнообразно». Въ этихъ сдовахъ высказывается вся журнальная исповёдь Полеваго, весь взгляль его на то дъло, которому онъ, съ такой пользою, обрекъ свои умственныя силы. Намъ нечего долго распространяться про то огромное вліяніе, какое возъимѣлъ «Телеграфъ» на всю русскую журналистику: до сихъ поръ, русскимъ журналамъ слъдуетъ съ благодарностью вспоминать имя того дъятельнаго журналиста, который развиль личныя мивнія въ Россіи, даль намъ первый образецъ европейскаго журнала и со всёмъ блескомъ и энергіей дарованія явился защитникомъ возникавшихъ стремленій русскаго общества.... Появленіе «Телеграфа» налѣдало много шуму въ нашей журналистикъ и произвело въ ней ръшительный перевороть. Публика, съ своимъ върнымъ чутьемъ, и

завсь поддержала благое предпріятіе Полеваго, открывь на его журналь большую подписку. «Числомъ подписчиковъ «Телеграфъ превзошелъ почти всв русскіе журналы — писаль Полевой въ первый же годъ своего изданія (№ XIII, Особен. Приб. къ Моск. Телегр.), — такъ что, по причинъ распродажи вськъ экземпляровъ, я принужденъ уже отказывать въ требованіяхъ многимъ подписчикамъ» *). Но не таковъ былъ пріемъ «Телеграфу» со стороны устаръвшихъ журналовъ и литераторовъ. Нашъ первый «обозрѣватель» литературы, Марлинскій, отозвался весьма иронически о «Телеграфів». «Въ Москвъ-говорилъ онъ-явился двухнедъльный журналъ «Телеграфъ», издаваемый г. Полевымъ. Онъ заключаетъ въ себъ все, извъщаетъ и судить обо всемъ, начиная отъ безконечно-малыхъ въ математикъ до пътушьихъ гребешковъ въ соусв или до бантиковъ на новомодныхъ башмачкахъ (Телеграфъ издавался съ модами). Неровный слогъ, самоувъренность въ сужденіяхъ - воть знаки сего «Телеграфа», а «смълымь Богь владбеть» его девизь». (Взглядь на рус. слов. 24 и нач. 25 годовъ). Но деликатный денди, Марлинскій, только поостриль надъ непонятнымь ему журналомь: другіе, болье сердитые и болье опытные въ бояхъ литераторы, стали дваать личныя и существенныя оскорбленія самому Полевому. «Противники мон — говориль издатель «Телеграфа» (1825 г. № XVII Особ. Приб.) — употребляють нелитературные способы унижать меня. Г. Булгаринъ говорилъ, что я перепечаталъ подъ своимъ именемъ Предисловіе въ Шлеперову Нестору и Разсужденіе г. Строева. Также говорять, что «Телеграфъ» издается двумя внигопродавцами, а я только читаю корректуру». Позже, издатель «Молвы» до того увлекся полемикой противъ Полеваго, что бранилъ не только его самаго, его журналъ и его сочиненія, но и самую улицу Дмитровку, на которой жилъ Полевой. (Телегр. 1831 г., № 9). Конечно, были на «Телеграфъ» и другія болье дыльныя и серьезныя нападенія, но они тонули, на первыхъ порахъ, въ массъ журналь-

^{*)} Мы слышали, что въ этомъ году у «Телеграфа» было уже около 2,000 подписчиковъ—цифра почти невъроятная въ то время.

ныхъ криковъ, личной брани и пустыхъ привязокъ. «Полгода—говорилъ Полевой въ 1825 г. (Телегр. ч. V, еще особ. приб.)—устремлялись на «Телеграфъ», съ разныхъ сторонъ, нападенія журналовъ и нѣкоторыхъ литераторовъ, которымъ открыто говорилъ я правду, и полгода я не дорожилъ ихъ претензіями».

Много нужно было силы и самонадъянности со стороны «Телеграфа», чтобъ возбудить противъ себя такое, почти всеобщее ожесточение журналистовъ. Дъйствительно, въ немъ было много и того и другаго. Хорошо наполненный литературный отлёдь, разнообразныя свёдёнія по части наукь и политики, наконецъ, самая внёшняя опрятность изданія, уже не располагали въ его пользу многихъ журналистовъ. Но что всего важнъй: Полевой осмълился угадать потребности современнаго общества, оживить его дремлющія силы, создать контроль надъ журнальной д'ятельностью. Полевой говориль о богатствъ западной науки, еще въ сотую долю не усвоенной нами, говориль о критическомъ элементъ въ журналь, о необходимости строгой оцънки всъхъ литературныхъ явленій. Какъ ни выполни онъ эту обязанность, но самое признание ея заставляло уже современныхъ издателей оглядывать съ робостью и недовъріемъ свои книжныя издълія. Полевой, съ гордостью, говорилъ впоследствіи, что онъ «слелаль критику постоянной принадлежностью журнала, первый обратиль ее на всв важнвитие современные вопросы». (Очерки Рус. Слов., ч. І, Предисл.). И такъ, заслуга его была безспорно велика. Но, не смотря на большой успъхъ «Телеграфа», не смотря на множество новыхъ силъ, вызванныхъ имъ къ борьбъ и организаціи — не всь его объщанія и не всь належды на него осуществились въ должномъ объемъ. Отложивъ въ сторону публицистическія достоинства журнала, мы взглянемъ на то, какъ отнесся онъ къ вопросу о романтизмв, разрешениемъкотораго такъ старательно занимался? Везпристрастіе требуетъ сказать, что на этомъ полъ "Телеграфъ" далеко не одержалъ тёхъ прочныхъ и блистательныхъ побёдъ, на которыя разсчитываль. Правда, онъ дійствительно поразиль классиковь, онъ осмъяль ихъ и заставиль замолчать, но его собственныя нонятія объ искусствъ были весьма сбивчивы и запу-

таны и не могли привести публику къ серьезному и окончательному решенію вопроса. Веневитпновъ быль совершенно правъ, когда говорилъ: «Мы отбросили французскія правила въ искусствъ не потому, чтобы могли ихъ опровергнуть какой нибудь положительной литературной системой, но потому только, что не могли примънпть пхъ къ нъкоторымъ произведеніямъ нов'єйшихъ писателей, которыми невольно наслажлаемся. Такимъ образомъ, правила невърныя замънились у нась отсутствіемъ всякихъ правиль». Если Полевой и ододъвалъ своихъ противниковъ въ спорахъ объ искусствъ, то не въ силу какой нибудь «положительной системы», а благодаря естественной бойкости и живости своего ума и и фсколько большему развитію эстетическаго вкуса. Но источникь его понятій объ этомъ предметь далеко не отличался особенной глубиною, чему лучшимъ доказательствомъ служитъ то, что, браня въ классикахъ слепое подражание и заниствование, онъ самъ не отказался впоследствін воспроизводить свои драматпческія наділія по такому же точно способу. Вообще, его теоретическія понятія о предметь спора не возвышались особенно высоко надъ мижніями г. Ореста Сомова, который въ своей книжкъ: «О Романтической Поэзіи» (Спб. 1823 г.) объясняеть себв романтизмъ только какъ прихоть «своенравной поэзіи, которая отметаеть все обыкновенное, требуя новаго и небывалаго» (стр. 2). Но изящный вкусь и большая широта умственнаго развитія, конечно, не позволили бы Помевому отозваться о «Фауств» Гёте, какъ объ ярмарочномъ фарсь и твореньи изступленнаго ума (О ром. 11093., стр. 52 н 57), или находить въ Шекспиръ измичнее паренье и даже надутость (ibid. стр. 26).

Въ споръ съ Веневитиновымъ, по поводу первой пъсни «Онъгина», Полевой прямо говоритъ: «Я очень понималъ, что говорю, когда неопредъленнымъ, непзъяснимымъ состояніемъ сердца человъческаго, хотълъ означить сущность и причину романтической поэзін» *) — на что его противникъ замътилъ весьма основательно, что «такое опредъленіе ничего

^{*)} Темегр. 1825 г., № XV, Особен. Приб., стр. 4.

не опредъляеть и не изъясняеть» *), удъляя романтической поэзіи только весьма темими и сомнительный уголокь человіческаго сердца.

Въ другихъ сферахъ научной деятельности Полевой тоже не оказалъ большихъ успѣховъ, и отъ его «Исторіи русскаго народа», по справедливому зам'вчанію одного даровитаго историка, только слово народъ сохранилось на знамени современной науки.... Намъ, кажется, что важнъйшая заслуга Полеваго, какъ журналиста, состояла именно въ томъ, быть можетъ, мало сознанномъ стремленіи къ прогрессу, которое дишало въ каждой его строкъ, давало толчокъ дремавшему сознанію другихъ. «Телеграфъ» напоминаетъ собой тъ острыя медицинскія средства, которыя вызывають къ жизни всё наличныя силы субъекта, но требують за собой другихъ средствъ, которыя бы давали этимъ силамъ болъе правильное и болъе организующее направленіе. Такимъ-то вторичнымъ, необходимымъ агентомъ, явилось въ русской литературъ то философское направленіе, которое проявилось въ «Московскомъ Въстникъ. Дъятельность Полеваго много оживила журнальную рѣчь въ Россіи, много помогла развитію общества, но съ одними элементами «Телеграфа», русская литература не могла бы уйти далеко впередъ... Полевой говорилъ: «Встръчаясь съ журналистомъ, не спрашиваютъ, что вы знаете, но нъть ли чего нибудь новаго?» При этомъ, онъ прибавлялъ, что журнальная критика литературныхъ и общественныхъ явленій должна быть умна, правдива, дплына. Она, действительно, можеть быть очень умна, но какъ она будеть правдивой и дёльной, когда журналисть не имбеть познаній въ томъ, о чемъ онъ взялся судить?

Тверже помня то богатство Западной науки, про которое говорилъ Полевой, Московскій Въстникъ представилъ прекрасные переводы изъ иностранныхъ, преимущественно нъмецкихъ писателей, съ которыми намъ необходимо было познакомиться, чтобы скоръй выйти изъ того страннаго, фальшиваго положенія, въ которое поставила насъ крикливая борьба романтизма

^{*)} Сынъ Отеч. 1825 г., № XXIV, Приб., стр. 32.

и классицизма. Тамъ же, между переводами изъ Жанъ-Поля Рихтера, Гёте и др., встръчаемъ мы прекрасную статью Авг. Шлегеля: «О трехъ единствахъ въ драмѣ», *) служившую какъ бы знаменемъ журнала въ борьбъ съ усталымъ классицизмомъ. Владъя болъе ясными началами въ своихъ критическихъ сужденіяхъ и удерживая какъ въ критикъ, такъ и въ неразлучной съ ней полемикъ большее благородство и кладнокровіе, Московскій В'єстникъ изб'єжаль техь промаховъ, которые часто мелькають въ критическихъ приговорахъ Полеваго и не протягиваль въ безконечность литературныхъ тяжбъ о томъ, что г, Булгаринъ не умбетъ опредблить тройнаго правила и смбшиваеть Казбекъ съ Эльборусомъ. **) Въ воззрвніяхъ Шлегеля, въ мысляхъ Гёте объ искусствъ, искалъ Московскій Въстникъ прочных основъ для своей литературной критики, — но стремленіе объединять частные случан, возводя ихъ въ общія понятія, отражалось и на всёхъ другихъ сторонахъ его леятельности, преимущественно въ историческихъ изысканіяхъ и отдъльныхъ мысляхъ объ этомъ предметъ. «Исторія — говорилось въ одной стать в Московскаго В встника ***) — должна изъ всего рода человъческаго сотворить одну единицу, одного чедовека и представить сего человека. Многочисленные народы, жившіе и действовавшіе въ продолженіи тысячелетія, доставять въ сію біографію, можеть быть, по одной чертв. Черту сію узнають великіе историки». Мысль эта, слишкомъ общая и отвлеченная, ограничивалась и пояснялась другой, высказанной И. Кирвевскимъ (Моск. Вестн. 1827 г. №5, Критика, стр. 68): «образованіе народа, во всёхъ отношеніяхъ, требуетъ органического, своего развитія, и должно по возможности, чуждаться вліянія со стороны иноземныхъ народовъ» ****).

^{*)} Статья эта почерпнута изъ «Теоріи драматич искусства» Авг. Шлегеля и напечатана въ первыхъ книжкахъ Моск. Въстника.

^{**)} Телегр. 1825 г., № XX, Особ. Прибавленіе. «Прибавленія» эти назначались Полевымъ собственно для полемики.

^{***)} Moce. В—еъ 1827 г., № 2. «Исторические афоризмы и вопросы».

^{*****)} Мысль эту не следуеть принимать въ слишкомъ узкомъ значении, такъ какъ этому противоречили бы другія мысли Киревскаго, нападавшаго только на легкомысленное подражаніе иноземпамъ.

По части литературной критики, Московскій В'єстникъ, въ первой же своей книжкв, помъстиль статью г. Шевырева: «О возможности найти единый законъ для изящнаго», гдъ, въ формъ діалога, изображается столкновеніе двухъ различныхъ критическихъ взглядовъ. «Вы хотите измфрить неизмъримое — говоритъ одинъ изъ собесъдниковъ — хотите обнять то, чего не вмъстить вашь разумъ. Вамъ ли узами опредъленныхъ понятій сковать то, что презираетъ всв узы и любить одну свободу? къ чему ваши правила, ваши законы? Пусть душа предается наслажденіямъ изящнаго, зачёмъ ей теряться въ безполезныхъ умствованіяхъ»? *) Но другой собесъдникъ твердо стоитъ на необходимости такого закона в, въ отвътъ на то, гдъ искать его? даетъ слъдующее наставленіе: «Ищи въ душ' всвоей законы сіи, наслаждайся разнообразными предметами красоты, но потомъ повъряй свои чувства, вопрошай чаще душу, короче, — знакомься съ нею, узнай ее, и тогда увидишь въ ея внутреннемъ святилищъ богиню красоты безъ покрова. > Взглядъ этотъ составляеть весьма близкое повтореніе мысли Шлегеля. По Шлегелю, понятіе объ нскусствъ не извлекается изъ опыта, но только въ немъ развивается: его должно искать въ первоначальной, свободной дъятельности нашего духа. Внъшнее чувство видитъ въ предметахъ одно неопредъленное множество частей, но сужденіе, посредствомъ котораго мы соединяемъ эти части въ одно стройное цълое, относится уже къ высшей сферъ понятій. «Органическое единство растенія или животнаго — говоритъ Шлегель въ своей «Теорін драматическаго нскусства» — заключается въ поняти о жизни, но внутренисе созердание жизни примъняемъ уже мы въ отдельному, оживленному предмету и. такимъ образомъ, въ немъ узнаемъ эту жизнь. То же самое следуеть применить къ искусству и къ тому процессу, кото-

^{*)} Тоже или почти тоже говорилъ Подевой слѣдующими словами: «Воображеніе поэта летаетъ, не спрашиваясь пінтикъ (подъ пінтикой онъ разумѣль, вообще, всѣ внутренніе законы творчества); падаетъ поэтъ — тогда торжествуйте побѣду школьныхъ правилъ: если же полетъ его изумляетъ, очаровываетъ, то дайте намъ наслаждаться» (Телегр. 1825 г., № 5, стр. 45).

рымъ мы создаемъ себъ понятіе объ изящномъ произведеніи. Отсюда выводилось прямое слъдствіе, что романтизмъ не есть случайное и мимолстное явленіе человъческаго духа, но коренится въ самой глубинъ его, какъ часть и сила этого духа, и, слъдовательно, имъетъ свои внутренніе законы, которые можно постичь изученіемъ собственной души и изящныхъ созданій искусства.

Первыя статьи Московскаго Въстника имъють свою особенную, литературную физіономію, по которой ихъ всего приличный назвать лирической прозою. Что-то порывистое и юношеское замытно въ этихъ попыткахъ подвести всы познанія подъ одинъ философскій уровень, какая то живая и теплая струя пробытаеть по всымъ этимъ разнообразнымъ изслыдованіямъ, какъ бы писанныхъ одною и тою же рукою. Этотъ характеръ, въ особенности, замытенъ въ первый годъ существованія Московскаго Въстника, когда этотъ журналъ не удылять еще слишкомъ много мыста для полемики съ Телеграфомъ (слыдуя письменнымъ совытамъ Веневитинова), не давалъ « слишкомъ большаго перевыса статьямъ историческимъ надъ всыми прочими и, наконецъ, выражалъ свои эстетическія теоріи языкомъ, котя нысколько восторженнымъ и лирическимъ, но все жь болье простымъ и понятнымъ для публики. *)

Но не смотря на участіе Пушкина, не смотря на соединеніе въ немъ значительныхъ умственныхъ силъ, Моск. Въстникъ не имълъ того успъха, который, съ перваго же года, увънчалъ собой журнальную дъятельность Полеваго. Причинъ этому было довольно много. Самая главная заключалась, конечно, въ томъ, что редакціи недоставало тъхъ журнальныхъ способностей, той литературной споровки, которыми, безспорно, обладалъ Полевой. Такъ напр., редакторъ Моск. Въстника, не прилагая модъ къ своему изданію (одно это уже губило его въ глазахъ многихъ читателей), не разнообразилъ его достаточно, и не усиливалъ въ немъ отдъла повъстей, которыя, по справедливому замъчанію Пушкина, **) могли быть для Въст-

^{*)} Съ 1828 г., въ литературћ появляются уже жалобы на «Московскій Вѣстникъ».

^{**)} Москвитянинъ 1842 г. Письма Пушкина (№ 10).

ника тыть же, чыть были моды для Телеграфа. Кромъ того, редакція вэглянула слишкомъ свысока на свою публику, которая вообще не любить, чтобъ ее третировали по дътски: такъ, въ первыхъ же нумерахъ «Московскаго Въстника», была затвяна самимъ редакторомъ интересная «переписка о разныхъ предметахъ», гдъ, желая пріохотить публику къразмышленію, авторъ съ умысломъ писалъ парадоксы, при чемъ прямо высказываль эту цель, обращая такимь образомь свои статьи въ школьныя упражненія, на подобіе тіхть извістных сэкзерпицій», гді нарочно дізлаются ореографическія ошибки.... Но какъ бы то ни было, значение и польза Московскаго Въстника для русской литературы, уже видны изъ нашего краткаго очерка. Здёсь впервые выходили на журнальную арену люди съ долгою и серьезною подготовкой, быть можеть, неслишкомъ чуткіе въ дневнимъ интересамъ массы, но съ запасомъ сидъ и сведеній, съ готовностію всёмь жертвовать для блага илеи и просвъщенія. Въ объявленіи о Моск. Въстникъ го-• ворилось, что его издають лица, «кои, бывъ движимы чистымъ усердіемъ къ общему благу, решились соединить свои **усилія** и принести общую жертву на алтарь просв'ященія» и чистота этого усердія, д'виствительно, благородна и безукоризнениа. Московскій Въстникъ быль у насъ первымъ серьезнымъ журналомъ, гдв успахъ дала зависалъ не отъ индивитуальных силь одной какой либо личности, но отъ соединенныхъ. дружныхъ усилій цёлаго общества молодыхъ и даровитыхъ людей. Если успъхъ журнала и литературной пропаганды во многомъ зависить отъ личныхъ дарованій своего главнаго двигателя, то и совокупность усилій, значеніе кружка. служащаго живимъ доказательствомъ общественнаго саморазвитія, тоже не лишены своей огромной важности, и безъ ихъ поддержки дело одной даровитой личности не можетъ принести столько прочной и надежной пользы.

Критическіе взгляды Веневитинова имѣютъ много общаго съ приведенными нами воззрѣніями «Московскаго Вѣстника». "Эти взгляды нигдѣ не выразились въ стройной и вполнѣ округленной системѣ, но, если мы сблизимъ между собой нѣ-которыя отрывочныя мысли Дмитрія Владиміровича, его не-

многія замѣчанія, высказанныя имъ въ разборѣ «Разсужденія» Мерзлякова, въ полемикѣ съ Полевымъ, въ статъѣ о Борпсѣ Годуновѣ — то мы можемъ, такимъ образомъ, составить себѣ понятіе и о всей критической системѣ Веневитинова.

Мы сказали уже нъсколько словь о критической дъятельности Мерзлякова, но теперь, приступан къ разбору его Разсужденія, должны снова напомнить читателямъ, что нашъ извъстный профессоръ, принадлежа къ псевдо-классической школь, быль прямымь литературнымь врагомъ Веневитинова. Заслуги Мерзлякова въ русской критикъ и мъсто его въ ея исторіи, опред'вляются, главн'в лінимъ образомъ, тімь, что онъ быль у насъ первымъ критикомъ, который цёнилъ литературныя произведенія въ силу какихъ-нибудь точныхъ и определенныхъ правилъ. Постоянно вооружался онъ противъ дегкихъ и поверхностныхъ занятій словесностью, постоянно призываль русскихъ писателей къ изучению науки изящнаго. «Уважимъ самихъ себя — говаривалъ часто профессоръ — уважимъ науку и талантъ стихотворца изъ любви къ самимъ себъ и тыть очистимъ наши собственныя наслажденія (Біогр. Слов. Моск. Универс. ч. 2, стр. 95). Но самыя его воззрѣнія въ этомъ дълъ не выходили — выражаясь скромнымъ языкомъ Веневитинова — «изъ сферы, очерченной предубъжденіемъ». Трагедія и комедія — писаль Мерзляковь въ своей статьв: «О началь и духв древней трагедін», — такъ же какъ и всв изящныя искусства, обязаны своимъ началомъ болъе случаю и обстоятельствамъ, нежели изобрътенію человъческому. Мудрая учительница наша, природа — продолжаль онъ — явила себя намъ во всемъ своемъ великоленіи, красоте и благахъ неисчетныхъ, возбудила подражательность и передала милое чадо свое на воспитаніе нашему размышленію, наблюденіямъ и опыту». Эта-то подражательность, по мижнію Мерзлякова, и произвела собой изящныя искусства. Придавъ искусству такое случайное происхождение и стёснивъ его однимъ подражаниемъ природъ, почеринутымъ изъ пінтикъ Буало и Лагарна, Мерзаяковъ, въ приложении своихъ мыслей, не затруднился уже объяснить усовершенствованіе греческой трагедін «мудрымь покровитель» ствомъ правителей общества», которые прибъгнули къ трагедін, какъ «къ рвшительному средству обузданія пылкихъ страстей». Веневитиновъ не согласился съ такимъ ограниченнымъ толкованіемъ, въ которомъ цёликомъ забывалась вся внутренняя, эстетическая сторона вопроса, и въ своемъ разборѣ «Разсужденія» Мерзлякова сдёлаль автору следующее возраженіе: «Нужно ли доказывать неосновательность софизма, что трагедія обязана своимъ началомъ болье случаю, нежели изобрѣтенію, когда самъ авторъ опровергаетъ его на слѣдующей страниць? Въроятно, — говоритъ г. Мерзляковъ — тратедія не принадлежить однимь грекамъ, но всемь народамъ и всемъ векамъ. У Оно боле, нежели въроятно; оно неоспоримо, если мы, подъ словомъ трагедія, будемъ разум'ять драматическую поэзію. То, что принадлежить всёмь народамь, всвиъ ввкамъ - не принадлежитъ ли, однимъ словомъ, чедовъку, его природъ, и можеть ли быть обязано своимъ началомъ случаю? И что значить человъческое изобрътеніе? Кто изобрель языкь? Кто, первый, открыль движенія тела, выражающія состояніе духа и сердца?»

Противъ мысли о подражательности въ искусствъ, нашъ рецензентъ замъчаетъ: «Поэтъ, безъ сомнънія, заимствуетъ изъ природы форму искусства, ибо нътъ формы внъ природы: но и подражательность не могла породить искусства, которое проистекаетъ отъ избытка чувствъ и мыслей въ человъкъ и отъ нравственной его дъятельности.»

 ной и дъйствують по врожденному побужденію къ дъйствію. *Пов видны усилія, тамь жизнь и надежда*".

Заключая свои мысли о началь искусства, Веневитиновъ говоритъ: «При нынъшнихъ условіяхъ эстетики, мы ожидали въ исторіи трагедіи болье занимательности. Для чего не показать намъ ея развитія изъ соединенія лирической поэзіи и эпопеи? Для чего не намекнуть на общую колыбель сихъ родовъ поэзіи? Изъ подобпыхъ замѣчаній, внимательный читатель заключиль бы, что они (эти роды поэзіи) неотъемлемо принадлежатъ человъку, какъ необходимыя формы, въ которыя выливаются его чувства. Мы бы объяснили себъ: отчего находимъ слъды ихъ у всѣхъ народовъ; увидъли бы, что на стремленіе къ подражанію правитъ умомъ человъческимъ, что человъкъ не есть въ природъ существо единственно страдательное.»

Въ полемикъ съ Полевымъ, Вепевитинову пришлось применить свои общія критическія воззренія къ частнымъ явленіямъ новъйшей литературы. Полемика эта возникла по поводу 1-й главы Онъгина, напечатанной въ 1825 году. Полевой написаль на эту главу краткую рецензію въ Телеграфъ (Телегр. 1825 г., № 5), одну изъ самыхъ неудачныхъ своихъ рецензій, писанную на-скоро, безъ всякаго желанія вникнуть въсмыслъ разбираемаго произведенія. Сбивчивость сужленій въ этой рецензіи поразительна; но сущность ся заключается, кажется, въ томъ, что Пушкинъ, написавъ первую главу своего романа, выказалъ уже не талантъ, а что-то гораздо выше. Заразясь неожиданно страстью къ сравненіямъ. Полевой называеть эту главу и литературнымъ сартіссіо и шуточной поэмой съ новыми и смёлыми тонами, и произвеленіемъ близкимъ къ Донъ-Жуану и поэмамъ Гёте (?!) Въ промежуткахъ статьи разбросаны довольно удачныя насмъщки надъ классиками, но вся статья написана въ такомъ неровномъ и неопределенномъ тонъ, что въ ней ясно проглядывало только олно намереніе журналиста—наделать, во что бы то ни стало, похваль знаменитому писателю. Это желаніе, а также и сбивчивость понятій, заявленная въ весьма распространенномъ журналь, бросились въ глаза Веневитинову, который никакъ

не могъ извинять такихъ запальчивыхъ и неосмотрительныхъ сужденій. Руководясь внутреннимъ тактомъ и большею твердостью своихъ эстетическихъ правилъ, Веневитиновъ напечаталъ въ «Сынъ Отечества» (1825 г. № 8) краткую замътку на рецензію Полеваго, гдъ весьма дѣльно и основательно замътилъ издателю «Телеграфа», что прочтя только одну первую главу «Онъгина», которая не составляетъ самостоятельнаго цълаго и по которой еще нельзя судить напередъ о всемъ произведеніи, не слъдовало торопиться въ печать съ своими восторгами. «Въ музыкальныхъ сочиненіяхъ, называемыхъ саргіссіо — говорилъ Веневитиновъ, воспользовавшись сравненіемъ Полеваго — должна заключаться полная мысль, безъ чего и искусства существовать не могутъ. Таковъ ли «Онъгинъ»? Не знаю — и повторяю вамъ: мы не имъемъ права судить о немъ, не прочитавши всего романа».

Но эта рецензія оскорбила издателя «Телеграфа» и онъ, хотя нескоро (черезъ четыре мъсяца) отвъчаль на нее антикритикой, помъщенной въ № XV «Телеграфа» за 1825 г. Въ этой антикритикъ, Полевой, пойманный врасплохъ, пробовалъ побълить своего противника полемической ловкостью и не совсёмь рыцарской добросовёстностью въ толкованые чужихъ словъ, -- но оказалось, что и такими орудіями нельзя сразить одинаково остроумнаго, но болье стойкаго на своемъ полъ противника. Веневитиновъ умно и ловко формулировалъ сущность спора, упрямо сводиль вопрось къ тому: имъль ли право Полевой произносить, по одной только первой главъ романа, решительный приговоръ надъ целымъ произведеніемъ, и быль ли онъ вправѣ, назвавши «Онѣгина» шамуномъ и вътренникомъ, ставить его рядомъ съ героями Вайрона? При этомъ Веневитиновъ говорилъ, что, не смотря на свою любовь къ русскому поэту, онъ не рашится признать въ напечатанныхъ, дотолъ его произведеніяхъ-твореній, дълающихъ, подобно Байроновымъ, честь своему въку. «Лира Байрона — говорилъ онъ — познакомила насъ съ звуками совершенно новыми, между твмъ, какъ Пушкинъ, если не заимствоваль у англійскаго поэта планы поэмь, характеры лиць, частныя описанія, то все же носиль въ своемъ сердцв глубокое впечатлѣніе, внушенное поэзіей Байрона». Позже, при разборѣ сцены изъ Бориса Годунова, въ которой видѣлъ кудожественное и вполнѣ законченное цѣлое, Веневитиновъ объяснилъ полнѣе и оригинальнѣе: какъ понимаетъ онъ отношенія Пушкина къ Байрону *).

Но въ глазахъ. Полеваго отказъ Веневитинова поставить Пушкина на одну высоту съ Байрономъ принялъ видъ какого-то «скрытаго предубъжденія» противъ русскаго поэта и на этой-то струнѣ Полевой хотѣлъ разыграть свою мувыку.... Увлеченный примѣромъ, Веневитиновъ и самъ не уберегся въ своемъ отвѣтѣ (Сынъ От. 1825 г., № 24, Приб.) отъ нѣсколькихъ раздражительныхъ замѣчаній и довольно рѣзко окончилъ свою полемику.

Въ споръ съ Мерзляковимъ, Веневитиновъ горячо нападалъ на ложний классицизмъ, но, мъняя оружіе съ противникомъ, онъ гораздо снокойнъе отозвался о немъ въ своей полемикъ съ Полевимъ.

«Въ статъв о словесности какъ не задъть Баттё? Но великодушно ли пользоваться превосходствомъ своего въка для униженія старыхъ аристарховъ? Не лучше ли не нарушать нокоя усопшихъ? Мы всъ знаемъ, что они имъютъ достоинство только относительное, но если вооружаться противъ предразсудковъ, то не полезнъе ли преслъдовать ихъ въ живыхъ? Нынче не судятъ о стихотворцъ по пінтикъ, но отсутствіе правилъ въ сужденіяхъ не есть ли также предразсудокъ? Не

^{*) «}Многіе — говорить онъ — упрекали Пушкина за то, что онъ слідоваль до сихъ поръ чужеземному вліянію и преклоняясь предъ англійскимъ бардомъ, въ которомъ видёль поэтическій геній своего времени, забываль призваніе оригинальнаго поэта. Упрекъ этоть несовсімъ справедливъ. При развитіи поэта, какъ и вообще при всякомъ нравственномъ развитіи, нужно чтобы вліяніе зрёдой силы дало сознать человіку всі нравственныя возбужденія, къ какимъ онъ только способенъ, привело въ движеніе ето дужевных силы и разбудило въ немъ его собственную энергію. Первый толчокъ невсегда рімаетъ направленіе духа, но ему обязанъ онъ своимъ полетомъ, и въ этомъ случай Байронъ быль для Пушкина тімъ же, чімъ были для самаго Байрона приключенія его бурной жизни». (Analyse d'une soéne, etc.).

забываемъ ли мы, что въ критикъ должно быть основаніе положительное, что всякая наука заимствуетъ свою силу изъ философіи, что и поэзія неразлучна съ философіей? Если мы съ такой точки зрънія, безпристрастнымъ взглядомъ, окинемъ кодъ просвъщенія у всъхъ народовъ (оцъняя словесность каждаго въ цъломъ — степенью философіи времени, а въ частяхъ— по отношенію мыслей каждаго писателя къ современнымъ понятіямъ о философіи); то все, мнъ кажется, пояснится. Аристотель не потеряетъ своихъ правъ на глубокомысліе, и мы не будемъ удивляться, что французы, подчинившись его правиламъ, не имъютъ литературы самостоятельной. Тогда мы будемъ судить по върнымъ правиламъ и о словесности новъйшихъ временъ; тогда причина романтической поэзіи не будетъ заключаться въ одпомъ неопредъленномъ состояніи сердца.>

По этимъ немногимъ чертамъ, читатель уже можетъ составить себъ приблизительное понятіе о критической системъ Веневитинова. Поэзія не была для него смутнымъ бредомъ, горячкой ума, а потому онъ и не смотрълъ на романтическую поэзію, какъ на залетную гостью, случайно и какъ бы безъ всякихъ поводовъ, слетъвшую на землю. Поэзія въчна и присуща человъческому духу, но ея временныя проявленія много зависять отъ успъха современной философіи, понимая поль ней различныя отношенія общества къ тімь или другимъ вопросамъ. Послъднее прибавленіе значительно измъняло мысль Шлегеля, значительно раздвигало рамки эстетической теоріи, допуская въ нихъ различныя общественныя вліянія. Веневитиновъ даже прямо говорилъ что «для общества безполезенъ поэтъ, который наслаждается въ собственномъ своемъ мірь, котораго мысль внь себя ничего не ищеть и, следовательно, уклоняется отъ цъли всеобщаго усовершенствованія». Но въ главной, эстетической основ своихъ сужденій, которой онъ, какъ поэтъ, отводилъ почетное мъсто, Веневитиновъ сближался съ Московскимъ Въстникомъ, превосходя его тъмъ поэтическимъ чутьемъ и критическимъ тактомъ, изъ которыхъ первое указало ему на капитальныя достоинства Бориса Годунова, а, благодаря второму, онъ никогда бы не дошель до крайностей въ своихъ возарѣніяхъ.

Намъ нечего доказывать, что эстетическій взглядъ, нетолько такой, какого держался Веневитиновъ, но даже и немного крайній, какой обнаруживается въ наиболье восторженныхъ статьяхъ Московскаго Въстника, принесъ въ свое время большую пользу русской критикъ. Онъ заставляль вчитываться и изучать цінимых писателей не слегка, не à vol d'oiseau, но съ божве серьезнымъ взглядомъ на двло, потому что, по этой теоріи, изящное произведеніе искусства есть цільный и въ самомъ себъ замкнутый міръ, на который, прежде всего, нужно взглянуть глазами самаго автора*). «Я вообще — говорилъ Веневитиновъ въ споръ съ Полевимъ-раздъляю поэтовъ на два класса — на дурныхъ и хорошихъ (выражаясь языкомъ не ученымъ, но понятнымъ для всякаго); дурныхъ кладу въ сторону, хорошихъ читаю, перечитываю и стараюсь опредълить себъ ихъ характеръ. > Въ этомъ-то стремленіи — изучить поэта и затѣмъ опредёлить себё его характерь, не принося съ собой въ минуту изученія никакихъ, заранье заготовленныхъ взглядовъ — и состояль дойствительный прогрессь той критики, которую проповъдывалъ «Московскій Вістникъ». Этой черты мы не находимъ въ скользкихъ и поверхностныхъ разборахъ Полеваго, который смотрълъ на Пушкина просто какъ на даровитато врага современныхъ пінтикъ, всегда путался въ опредъленіи его харак-

^{*)} Бълинскій прекрасно опредёлиль достопиства и недостатки чисто-эстетическаго воззрвнія следующими словами: «Гете сказаль где-то: «какого читателя желаю я? такого, который бы меня, себя и цёлый міръ забыль и жиль бы только въ книгъ моей.» Нъменкие аристархи оперлись на это, какъ на основной камень эстетической критики. И однакожъ односторонность Гетевой мысли очевидна. Подобное требование очень выгодно для всякаго цоэта, ибо такъ какъ все имъетъ свою причину и основание - даже эгоизмъ, дурное направленіе, самое невъжество поэта — то если критикъ будетъ смотрать на произведение автора безъ всякаго отношения къ его личности, забывъ о самомъ себъ и о целомъ мірь — естественно, что творенія этого поэта явятся непогрешительными. Но съ другой стороны мысль Гете имеетъ глубокій смысль, если ее принимать не безусловно, но какъ первый, необходимый актъ въ процессъ критики. Чтобъ разбирать критически писателя. прежде всего должно изучить его, то есть войти въ міръ его творчества не вначе, какъ забывъ его, себя и все на свътъ». (Соч. Бъл., т. ІХ, стр. 343-344).

тера и, чтобы объяснить себѣ своенравныя вдохновенія поэта, прибѣгаль даже къ мнимо эстетическому правилу, что «поэтъ неволенъ въ направленіи своего восторга: что ему поется, то онъ и поетъ». Но это правило, случайно вырванное изъ цѣлой системы понятій, еще болѣе сбивало и запутывало издателя Телеграфа, и Веневитиновъ не даромъ внушалъ ему, что «Поэты не летаютъ безъ цѣли и только на зло пінтикамъ, но что поэзія, подобно предметамъ своимъ — природѣ и сердцу человѣческому, въ себѣ самой имѣетъ свои постоянныя правила».

Мы подошли, такимъ образомъ, къ чисто-поэтической деятельности Веневитинова и должны объяснить: почему мы не слишкомъ торопились въ оценке этой, наиболе видной, стороны въ значеніи Веневитинова. Изученіе философіи, въ которой Веневитиновъ быль столько же мыслителемъ, сколько поэтомъ, положило существенную и неизгладимую печать на весь духъ его немногихъ поэтическихъ произведеній. Этотъ-то сознательный элементь прожитаго и, если можно такъ выразиться, продуманного чувства, и составляеть отличительную черту изящной и задушевной музы нашего поэта. Мы сказали уже, что Веневитиновъ не считалъ поэвію бредомъ ума или случайной экзальтаціей чувства, съ неуваженіемъ отзывался о стихотворцахъ, «обратившихъ ее въ орудіе нравственнаго безсилія» и никакъ не хотёлъ допустить, чтобы «чувство освобождало поэта отъ обязанности мыслить, отвлекая его отъ высокой цёли самоусовершенствованія. Въ чувствъ онъ не останавливался на одномъ внѣшнемъ, поверхностномъ впечатлѣніи, но долго и часто съ мучительными волненіями, выносиль его въ себъ, прежде, чёмъ изливался на бумагу. Оттого всё почти стихотворенія его носять на себ' черты, могущія сміло войти въ біографію поэта по своей искренности и полному соотв'єтствію съ внутренней жизнью автора. Вотъ какъ понималь самъ Веневитиновъ процессъ поэтическаго творчества. «Самыя поэтическія эпохи исторіи — говориль онь — представляють намъ самое малое число поэтовъ, и это не трудно объяснить естественными законами ума. Первое чувство никогда не творитъ и не можетъ творить; потому что оно всегда представляетъ

согласіе. Чувство только пораждаеть мысль, которая развивается въ борьбъ и тогда уже, снова обратившись въ чувство, является въ произведеніи. И потому, истинные поэты всвхъ народовъ, всвхъ въковъ, были глубокими мысдителями н. такъ сказать, вънцомъ просвъщенія. > Поэть еще яснъй и наглядный выражаль свою мысль следующимь примеромы: «представимъ себъ Фидіаса, пораженнаго идеею Аполлона. Въ душъ его совершенное спокойствіе, совершенная тишина. Но доволенъ ли онъ этимъ чувствомъ? Еслибъ наслажденіе его было полное — для чего бы онъ взяль ръзецъ? Еслибъ идеаль его быль ясень --- для чего старался бы онь его выравить? Нътъ, эта тишина, предвъстница бури.... Но когда вдохновенный художникъ, побъдивъ всъ трудности искусства, передаль свою мысль безчувственному мрамору, тогда только истинное спокойствие водворяется въ его душу: онъ позналь свою силу и наслаждается въ мірь ему уже знакомомь.>

Такимъ образомъ, чувство, по мивнію Веневитинова, тогда только можетъ стать достойнымъ предметомъ творчества, когда оно укрвпится въ долгой, внутренней борьбв и пройдетъ всв сложныя фазы своего развитія. По этому особенному карактеру своего поэтическаго таланта, Веневитиновъ чувствовалъ большое влеченіе къ поэзін Гете, въ которой мысль наиболе подружилась съ чувствомъ. Но, по неизъяснимой тайнъ творчества, это мыслящее направленіе нимало не скрадывало въ немъ техъ нежнейшихъ оттенковъ чувства, той граціи и тенлоты созданія, которымъ, къ сожаленію, суждено было проявиться только въ весьма немногихъ произведеніяхъ.... Но въ какихъ же именно? вотъ вопрось, на который я долженъ отвечать несколько подробнее, приступивъ къ пересмотру того, что осталось отъ Веневитинова въ полномъ собраніи его сочиненій.

Прежде всего, я долженъ замѣтить, что нѣкоторая часть напечатанныхъ произведеній Веневитинова, весьма интересная для біографа, не носить на себѣ той окончательной внѣшней отдѣлки, которая бы вполнѣ удовлетворила строгаго цѣнителя—не носить уже потому, что многія изъ этихъ произведеній налиечатаны по смерти автора и, по всей вѣроятности, не были бы

имъ самимъ одобрены къ печати. Впрочемъ, изъ нъкоторыхъ, болье или менье обработанныхъ стихотвореній, какъ напр. «Три розы», «Поэть», «Пъснь Грека», «Къ любителю музыки», «Поэть и Другь», «Жертвоприношеніе» и др., мы можемъ видъть: до какой изящной гибкости и мелодичности могъ доходить стихъ нашего поэта. Что же касается до «Пъсни Грека», написанной Веневитиновымъ 18-ти лътъ, и «Поэта», — то мы можемъ сказать, безъ преувеличенія, что только у одного Пушкина русскій языкъ укладывался въ то время въ такія звучныя, текучія строфы. Въ сцень: «Поэть и Другь», въ стихотвореніи: «Я чувствую, во мив горить....» строгій высь можеть отметить некоторыя погрешности стиха, — но если мы вспомнимъ время ихъ появленія и прибавимъ къ этому, что нынъ стихъ самаго Пушкина начинаетъ уже старъть для нашего уха, то, безъ труда, оценимъ все достоинство ихъ стройной фактуры. *) Чтобъ хорошо оценить поэзію Веневитинова необходимо вчитаться въ его стихотвореніе:

«Я чувствую, во мнѣ горить Святое пламя вдохновенья....»

Оно написано поэтомъ въ одну изъ самыхъ свътлыхъ минутъ его творчества и представляетъ какъ бы программу той поэзіи будущаго, для которой онъ считалъ себя призваннымъ. Стикотвореніе прекрасно и какъ будто навъяно поэту воспоминаніями его первой юности, но имъ однимъ еще не опредъляется вполнъ характеръ поэзіи Веневитинова. По широтъ своей натуры, поэтъ дъйствительно отзывался на всякое чедовъческое стремленіе, на всякій призывъ природы и чувства, а потому и не могъ бы никогда забиться въ какое нибудь одностороннее увлеченіе, — но всъ эти разнообразныя впечатлінія слагались въ его душт по одному особенному закону, который составляетъ тайну творчества и придаетъ извъстный характеръ всей музт поэта. Характеръ нашего поэта былъ элегическій въ самомъ широкомъ смысль этого слова. Читатель

^{. . *)} Въ переводахъ Веневитинова изъ Гёте, гдѣ близость въ подлиннику часто равняется красотѣ передачи, мы можемъ найти цѣлыя строфы, и донынѣ безукоризненныя со стороны внѣшней отдѣлки.

могъ уже убъдиться изъ нашего «біографическаго очерка» въ томъ, что самая натура Веневитинова, его рано-развитый умъ, его скрытно-работавшее чувство, сильно располагали его къ тихой грусти по несбывшимся идеаламъ, — но не къ той грусти, которая бъжитъ отъ жизни и враждуетъ съ нею; мы внаемъ также стихотвореніе: «Поэтъ», гдѣ Веневитиновъ беретъ за идеаль — человѣка, живущаго внутри себя, съ запасомъ силъ и тихихъ вдохновеній.... Но чтобы глубже понять тотъ элегическій характеръ, который проникалъ собой лучшія произведенія Веневитинова и ту всегдашнюю сочувственную ноту, которой замыкалась его свѣтлая, примиряющая грусть — сдѣдуетъ обратить вниманіе на стихотвореніе: «Къ дюбителю музыки», гдѣ поэтъ самъ обнаруживаетъ тайный процессъ своихъ душевныхъ ощущеній.

Да люди были, дъйствительно, *братья* нашему поэту, и много слезъ о нихъ пролилъ онъ въ своихъ жаркихъ, юношескихъ мечтаніяхъ!...

Когда же муки чувства, какъ бы притупляя на мгновеніе душевную воспріимчивость поэта, повергали его въ полнъйшую апатію къ жизни — тогда онъ, однимъ почеркомъ пера,
писалъ свои скептическія, но задушевныя строфы въ стихотвореніи: "Жизнь" и др. Но это временное настроеніе недолго удерживалось въ душт поэта, снова разрышаясь въ
тихую и свътлую гармонію:

Не такъ прпроды строгъ завѣтъ: Не презирай ен дарами; Она, на радость юныхъ лѣтъ, Даетъ надежды намъ съ мечтами — Ты гордо слышалъ ихъ привѣтъ. Она желаніе святое Сама зажгла въ твоей крови И въ грудь, для пламенной любви, Вложила сердце молодое.

Что сказать о частномъ значеніи этой поэзіи, о ея мѣстѣ въ исторіи русской литературы, о томъ вліяніи, которое могла имѣть она на современныхъ или послѣдующихъ поэтовъ?

Въ исторіи литературы Веневитиновъ составляєть чисто- исключительное явленіе и мы, при всёхъ усиліяхъ, не могли

бы подвести ему никакой генеалогіи.... Быть можеть, по причинь этой разорванности съ прошлымь, этой странной, но симпатичной одинокости, — поэзія Веневитинова промелькнула у насъ такимъ блестящимъ, но далекимъ метеоромъ. Быль у насъ и другой поэть-мыслитель — Е. А. Баратынскій, личность котораго тоже, къ сожальнію, весьма мало знакома русской публикь. Но Баратынскій былъ воспитанъ на французской литературь и по своему направленію, не имълъ ничего общаго съ Веневитиновымъ. Притомъ же, значительный перевъсъ мысли надъ чувствомъ, замѣчаемый въ Баратынскомъ, перевъсъ, нарушавшій ихъ свѣтлую гармонію и часто выражавыйся въ блъдныхъ и безцвѣтныхъ образахъ, составляеть совершенную противоположность той слитной полнотѣ мысли и чувства, которая отмѣчала собой поэзію Веневитинова.

Основными чертами своей поэзіи, Веневитиновъ также сушественно разнится и отъ Иушкина: тамъ страшная сила непосредственнаго творчества, тутъ глубокая внутренняя работа, въ которой талантъ не вдругъ обнаруживаетъ свои скрытыя силы. Одинъ владетъ всемъ широкимъ и разнообразнымъ полемъ искусства: и чувство, и фантазія, и лирическій жарь, и объективное воззрѣніе, находятся въ его власти; другой избралъ себъ менье широкій, но завидный уголокъ чувства, быть можеть, развитаго насчеть фантазіи, но проникнутаго мыслью и согрътаго всей теплотой сознательной жизни. Мы не сравниваемъ заслугъ этихъ двухъ поэтовъ, изъ которыхъ одинъ составилъ собой эру въ исторіи русской литературы, другой же умерь вначаль своего развитія, а хотимъ только уяснить отличительныя черты не вполнъ развившейся, но въ высшей степени симпатичной музы.... Къ тому же, съ этими именно чертами, поэзія Веневитинова уже перешла въ исторію нашей литературы и, безъ сомненія, оказала свое вліяніе на многихъ поэтовъ. У Веневитинова не было прямых подражателей и последователей въ литературе, но нравственное вліяніе тонко и неуловимо: оно невсегда сказывается однимъ, опредъленнымъ образомъ, одною ръзкою и очевидною чертою; довольно того, что идея сознательнаго творчества, полнаго согласія ума и чувства, которой представителемъ является Веневитиновъ, была постоянно жива въ русской литературъ и часто напоминалась лучшими критиками. Что сталось бы впослъдствіи съ нашимъ поэтомъ, еслибъ ранняя смерть не окончила дней его, какихъ созданій мы были бы вправъ ожидать отъ его таланта? Это относится уже къ области критическихъ гаданій.

Заключая статью нашу, мы должны напомнить читатедямъ то общественное значеніе, какое имбеть для нась личность Веневитинова. Главный двигатель перваго философскаго кружка въ Россіи, человъкъ, стремившійся внести сознательные принципы не только въ науку, но и въ самую жизнь; основатель журнала, честно служившаго философской пропагандъ въ Россіи — онъ, конечно, заслуживаетъ за это нашего полнаго вниманія. Въ своемъ кружкъ, въ сферъ людей, изъ которыхъ многіе составили себ'є имя на различныхъ путяхъ двательности, между которыми самъ Пушкинъ стоитъ въ отдаленной перспективь, значение Веневитинова не подлежить никакому сомнёнію. Мало такихъ свётлыхъ и безупречныхъ личностей найдемъ мы въ исторіи русскаго общества. Мы встръчали изъ этого кружка людей уже пожившихъ и испытанныхъ жизнью, много видевшихъ и многое позабывшихъ — но при одномъ словъ объ ихъ юномъ другъ, при одномъ звукъ этого незабвеннаго имени, рой свътлыхъ и чистыхъ воспоминаній внезапно поднимался въ нихъ изъ тумана прошлаго. Много было нужно душевной силы, много теплоты и неизъяснимой привлекательности, чтобъ въ 20, съ небольшимъ, лътъ, созръть вполнъ для такого прочнаго, глубокаго дъйствія на человъческое сердце!

Въ ряду многихъ, современныхъ ему дъятелей, не знавшихъ куда дъвать избытокъ душевныхъ силъ или выгоды своей общественной обстановки, мыслящая и трудящаяся личность Веневитинова, до сихъ поръ, является намъ какимъ-то чуднымъ и загадочнымъ призракомъ....

Мы должны сказать еще нѣсколько словъ касательно редакціонной части изданія. Порядокѣ размѣщенія стихотворе-

ній мы значительно измінили противь прежняго, Смирдинскаго изданія, руководствуясь, преимущественно, тъми хронологическими указаніями, которыя удалось намъ собрать отъ родныхъ и знакомыхъ Веневитинова. Подъ нъкоторыми стихотвореніями мы выставили одинъ годъ, подъ другими два смежныхъ года, когда не знали точно времени ихъ появленія; есть и такія, которыя совсёмъ лишены хронологической цифры и помъщены на томъ или другомъ мъстъ по нашимъ собственнымъ соображеніямъ и догадкамъ. Переводы изъ Гёте (Земная участь и апооеоза художника и Отрывки изъ Фауста) мы оставили по прежнему въ концъ стихотворнаго отдъла, такъ какъ они представляють особый циклъ произведеній нашего поэта. Въ прозаической части мы сгруппировали въ началъ отдёла всё мелкіе отрывки, которые прежде были разбросаны въ разныхъ мъстахъ, и отнесли къ концу его болъе серьезныя статьи, какъ-то: письма о философіи, Разборъ «Разсужденія» Мерзиякова и полемику съ Полевимъ, не вошедшую, какъ мы сказали, въ прежнее собраніе сочиненій Веневитинова.

Нынъшнее изданіе составляеть, по счету, третье—со смерти автора.

А. Пятковскій.

С. Петербургъ. 1858 — 1860 г.



CTHXOTBOPEHIA

•

знаменія передъ смертью цезаря.

(Отрывокъ изъ Виргиліевыхъ Георгикъ.)

О Фебъ! тебя-ль дерзнемъ обманчивымъ назвать? Не твой ли быстрый взоръ умъетъ проникать До глубины сердецъ, гдъ возниваютъ мщенья И злобы бурныя, но тайныя волненья? По смерти Цезаря, ты съ Римомъ скорбь двлилъ, Кровавымъ облакомъ чело свое покрылъ; Ты отвратиль отъ насъ разгивванныя очи, И міръ, преступный міръ, страшился въчной ночи. Но все грозило намъ — и ревъ морскихъ валовъ, И врановъ томный кликъ, и лай ужасный псовъ. Колькраты эрели мы, какъ Этны горнъ кремнистой-Расплавлены скалы вращаль рекой огнистой, И пламя клубами на поле изрыгалъ. Германецъ трепетный на небеса взиралъ; Со трескомъ облака сражались съ облаками, И Альпы двигались подъ въчными снъгами. Священный лесь стеналь; — во мгле густой ночей Скитался блёдный сонмъ мелькающихъ тёней. Мъдь потомъ залилась, (чудесный знакъ печали!) На мраморахъ боговъ мы слезы примачали. Земля отверзлася, Тибръ устремился вспять, И звъри къ ужасу могли слова въщать;

Разлитый Эриданъ кипящими волнами
Увлекъ дремучій лѣсъ и пастырей съ стадами.
Во внутренности жертвъ священный взоръ жрецовъ
Читалъ лишь бѣдствія и грозный гнѣвъ боговъ;
Въ кровавыя струи потоки обращались;
Волки ревущіе, средь стогнъ, во мглѣ скитались;
Мы зрѣли въ ясный день и молнію, и громъ,
И страшную звѣзду съ пылающимъ хвостомъ.

И такъ вторицею орлы дрались съ орлами. Въ поляхъ Филипповыхъ подъ тъми-жь знаменами Родные межь собой сражались вновь полки, И въ битвъ падалъ братъ отъ братниной руки. Двукраты рокъ велълъ, чтобъ Римскія дружины Питали кровію Оракійскія долины.

Быть можеть, некогда въ обширныхъ сихъ поляхъ, Где нашихъ воиновъ лежитъ бездушный прахъ, Спокойный селянинъ тяжелой бороною Ударитъ въ шлемъ пустой — и трепетной рукою Подниметъ ржавый щитъ, затупленный булатъ, — И кости подъ его стопами загремятъ.

1819 г.

къ друзьямъ.

Пусть искатель гордой славы Жертвусть покоемъ ей!
Пусть летить онъ въ бой кровавый За толной богатырей!
Но надменными вънцами
Не прельщенъ пъвецъ лъсовъ:

Я счастливъ и безъ вѣнцовъ, Съ лирой, съ вѣрными друзьями.

Пусть богатства страсть терзаеть Алчущихъ рабовъ своихъ!
Пусть ихъ златомъ осыпаетъ,
Пусть они изъ странъ чужихъ
Съ нагруженными судами
Волны ярыя дробятъ:—
Я безъ золота богатъ
Съ лирой, съ върными друзьями.

Пусть веселій рой шумящій За собой толны влечеть! Пусть на ихъ алтарь блестящій Каждый жертву понесеть! Не стремлюсь за ихъ толнами — Я безъ шумныхъ ихъ страстей Веселъ участью своей Съ лирой, съ върными друзьями. 1821 г.

В В ТОЧКА.

Въ безпънный часъ усдиненья, Когда пустынною тропов. Съ живымъ восторгомъ упосныя Ты бродишь съ милою мечтой Въ тъни дубравы молчаливой, — Видалъ ли ты, какъ вътръ игривой Младую въточку сорветъ? Родной кустарникъ оставляя, Она віется, упадая На зеркало ручейныхъ водъ, И, новый житель влаги чистой, Съ потокомъ плыть принуждена, То надъ струею серебристой Спокойно носится она, То вдругъ предъ взоромъ исчезаетъ И кроетси на днъ ручья; Плыветъ — все новое встръчаетъ, Все незнакомые края: Усьянь нъжными цвътами Здесь улыбающійся брегь, А тамъ пустыни, въчный снъгъ, Иль горы съ грозными скалами. Такъ далъй въточка плыветъ И путь невърный свой свершаеть, Пока она не утопаетъ Въ пучинъ безпредъльныхъ водъ. Вотъ наша жизнь! — такъ къ верной цели, Необоримою волной, Потокъ насъ всъхъ отъ колыбели Влечетъ до двери гробовой *). 1821—22 г.

^{*)} Стихотвореніе это, кажь и сказано у насъ въ біографическомъ очеркъ (стр. 6), есть довольно близкій переводъ изъ Грессе. Мы не имъемъ подъ рукой сочиненій Грессе. но желающіе справиться могуть найти означенный оригиналь въ Galerie littéraire par I. Maigrot или въ нашей статьъ: «Матеріалы для біографіи Вепевитинова», во 2-мъ вып. «Сборника», надстуд. С. Петербургскаго университета.

два отрывка изъ неоконченной поэмы.

I.

Шуми Осетръ! твой брегъ украшенъ Дълами славной старины; Ты роешь камни мшистыхъ башенъ И древней, твердыя стыны, Обросшей давнею травою. Но кто надъ древнею рекою Разбросилъ груды кирпичей, Остатки древнихъ укрѣпленій, Развалины минувшихъ дней? Иль для грядущихъ поколеній Какъ памятникъ стоятъ онъ Воинскихъ, громкихъ приключеній? Такъ, — брань пылала въ сей странъ; Но бранныхъ нътъ уже: могила Могучихъ съ слабыми сравнила. На полъ битвъ глубокій сонъ. Прошло побъды ликованье, Умолкнулъ побъжденныхъ стонъ: Одно лишь темное преданье Въщаетъ о дълахъ въковъ И въетъ вкругъ нъмыхъ гробовъ.

Взгляни какъ новое свътило, Грозя имлающимъ хвостомъ,

Поля Рязански озарило Зловещимъ пурпурнымъ лучомъ. Небесный сводъ отъ метеора Вагровымъ заревомъ горитъ. Толна средь княжескаго двора Растеть, теснится и шумить; Младые старцевъ окружають И жадно ловять ихъ слова: Несется разная молва. Изъ нихъ иные предвъщаютъ Войну кровавую иль гладъ; Другіе даже говорять, Что скоро, къ ужасу вселенной, Раздастся звукъ трубы священной И съ нламеннымъ мечемъ въ рукахъ Промчится ангелъ истребленья. На лицахъ суевърный страхъ, И съ хладнымъ трепетомъ смятенья Власы поднялись на челахъ.

II. ø

Средь терема, въ поков темномъ, Подъ сводомъ мрачнымъ и огромнымъ, Гдв тускло, межь столбовъ, мелькалъ Свътильникъ блёдный, одинокій, И слабымъ свътомъ озарялъ И лики ствнъ, и сводъ высокій Съ изображеньями святыхъ, — Князь Өедоръ окруженъ толною

Вояръ и братьевъ молодыхъ. Но нътъ веселія межь нихъ: Въ борьбъ съ тревогою нъмою, Глубокой думою томясь, На длань склонился юный князь, И на челъ его прекрасномъ Блуждали мысли, какъ весной Блуждають тучи въ небъ ясномъ. За часомъ длился часъ другой: Князья, бояре всв молчали — Лишь чаши звонкія стучали, И въ нихъ шипълъ кипящій медъ. Но медъ, сердецъ славянскихъ радость, Душа пировъ и врагъ заботъ, Для князя потераль всю сладость, И Өедоръ безъ отрады пьетъ. Въ немъ сердце къ радости остыло:

Ты улетълъ, восторгъ счастливый, И вы, прелестныя мечты, Весенней жизни красоты, Ахъ! вы увяли, какъ средь нивы На мигъ блеснувшіе цвъты! Зачъмъ, зачъмъ тоскъ унылой Младое сердце отдалъ онъ? Давно ли онъ съ супругой милой Одну лишь радость въ жизни зналъ? Бывало, братья удалые Сбирались шумною толной: Межь нихъ младая Евпраксія

Была веселости душой, И часъ вечерняго досуга, Въ бесъдъ дружескаго круга, Какъ чистый, быстрый мигъ летълъ. 1822 г.

ивснь кольмы.

(Изъ Макферсона.)

Ужасна ночь, а н одна Здесь на вершине одинокой. Вокругъ меня стихій война. Въ ущеліяхъ горы высокой Я слышу вътровъ свисть глухой. Здёсь по скаламъ съ горы крутой Стремится внизъ потокъ ревучій, Ужасно надъ моей главой Гремитъ перунъ, несутся тучи. Куда быжать? гдв милый мой? Увы, подъ бурею ночною Я безъ убъжища, одна! Влесни на высотъ, луна, Возстань, явися надъ горою! Выть можеть, благодатный светь Меня къ Сальгару приведетъ. Онъ върно ловлей изнуренный, Своими исами окруженный, Въ дубравъ иль въ степи глухой, Сложивши съ плечъ свой лукъ могучій Съ опущенною тетивой,

И презирая громъ и тучи, Ему знакомый бури вой, Лежить на муравъ сырой. Иль ждеть онь на горь пустынной, Доколъ не наступить день И не разсветь ночи длинной. Ужаснъй громъ; ужаснъй тынь; Сильнъе вътровъ завыванье; Сильнее волнъ седыхъ плесканье! И гласа не слыхать! О верный другь! Сальгаръ мой милый! Гдв ты? ахъ, долго-ль мнв унылой Среди пустыни сей страдать? Вотъ дубъ, потокъ, о брегъ дробимый, Гдъ ты клялся до ночи быть! И для тебя мой кровъ родимый И брать любезный мной забыть. Семейства наши знаютъ мщенье, Онъ враги между собой: Мы не враги, Сальгаръ, съ тобой. Умолкии, вътръ, хоть на мгновенье! Остановись, потокъ съдой! Быть можеть, что любовникъ мой Услышить голось, имъ любимый! Сальгаръ! тебя здёсь Кольма ждетъ; Здесь дубъ, потокъ, о брегъ дробимый; Здёсь все: лишь милаго здёсь нётъ. 1822 г.

КЪ ДРУЗЬЯМЪ НА НОВЫЙ ГОДЪ.

Друзья! насталь и новый годъ!
Забудьте старыя печали,
И скорби дни, и дни заботъ,
И все, чёмъ радость убивали;
Но не забудьте ясныхъ дней,
Забавъ, веселій легкокрылыхъ,
Златыхъ часовъ для сердца милыхъ,
И старыхъ, искреннихъ друзей.

Живите новымъ въ новый годъ, Покиньте старыя мечтанья, И все, что счастья не даетъ, А лишь одни родитъ желанья! По прежнему въ годъ новый сей Любите музъ и пъсень сладость, Любите шутки, игры, радость, И старыхъ искреннихъ друзей.

Друзья! встръчайте новый годъ
Въ кругу родныхъ, среди свободы:
Пусть онъ для васъ, друзья, течетъ,
Какъ дътства счастливые годы.
Но средь Петропольскихъ затъй
Не забывайте звуковъ лирныхъ,
Занятій сладостныхъ и мирныхъ,
И старыхъ, искреннихъ друзей.
1823 г.

четыре отрывка изъ неоконченнаго пролога: смерть байрона *.

I.

вайронъ.

Къ тебъ стремился я, страна очарованій! Ты въ блескъ снилась мнъ, и ясный образъ твой,

Въ волшебные часы мечтаній,
На крыльяхъ радужныхъ леталъ передо мной.
Ты объщала мнъ отдать восторгъ цълебной,
Насытить жадный духъ добычею въковъ,—

И стройный хоръ твоихъ пѣвцовъ, Гремя гармоніей волшебной, Мнѣ издали манилъ съ полуденныхъ бреговъ. Здѣсь думалъ я поднять таинственный покровъ Съ чела таинственной природы,

Узнать вблизи сокрытыя черты, И въ океанъ красоты Забыть обманъ любви, забыть обманъ свободы.

II.

*Вождь грековъ.
Сынъ Съвера! Взгляни на волны:
Ихъ вражіи покрыли корабли,
Но часъ пройдетъ, — и наши чолны
Имъ смерть на встръчу понесли!

^{*} Планъ этого пролега неизвъстенъ. Отрывки же (за исключеніемъ, развъ, эрваго изъ нихъ) очевидно набросаны вчернъ, на скорую руку.

Они еще сокрыты за скалою, Но скоро выдетять на произволь валовъ. Сынъ Съвера! готовься къ бою.

байронъ. Я умереть всегда готовъ.

вождь.

Да! Смерть сладка, когда цвътъ жизни Приносишь въ дань своей отчизнъ. Я самъ не разъ ее встръчалъ Средь нашей доблестной дружины, И зыбкости морской пучины Надежду, жизнь и все ввърялъ. Я помню славный берегъ Хіо — Онъ въ памяти и у враговъ. Средь върной пристани ночуя, Спокойные Магометане Не думали о шумъ браней. Покой лельяль ихъ безпечность. Но мы, мы Греки, не боимся Тревожить сонъ своихъ враговъ: Летимъ на десяти ладьяхъ; Взвилися молны роковыя, И вмигъ зажглись валы морскіе. Громады кораблей взлетели, — И все затихло въ бездив водъ. Чтожь озариль лучь ясный утра? — Лишь опустелый Океанъ, Гдв изрвдка обломокъ судна

Къ зеленымъ несся берегамъ, Иль трупъ холодный, и съ чалмою, Качался тихо надъ волною.

Ш.

хоръ.

Валы Архипелага
Кипять подъ злой ватагой;
Друзья! на корабляхъ
Вдали чалмы мелькають,
И мъсяцы сверкаютъ
На бълыхъ парусахъ.

Плывутъ рабы Султана, Но заповъдь Корана Имъ не залогъ побъдъ. Пусть ихъ несетъ отвага! Сыны Архипелага Имъ смерть пошлютъ во слъдъ.

IV.

хоръ.

Орелъ! Какой перунъ враждебной Полетъ твой смълый прекратилъ? Чей голосъ силою волшебной Тебя созвалъ во тьму могилъ? О Эвръ! въй въстію печальной! Реви уныло, бурный валъ!

Пусть Альбіона берегъ дальной Трепеща слышить, что онъ палъ.

Стекайтесь, племена Эллады, Сыны свободы и побъдъ! Пусть вмъсто лавровъ и награды Надъ гробомъ грянетъ нашъ обътъ: Сражаться съ пламенной душою За счастье Греціи, за месть, И въ жертву падшему Герою Луну поблекшую принесть!

НЪСНЬ ГРЕКА.

Подъ небомъ Аттики богатой Цвъла счастливая семья. Какъ мой отецъ, простой оратай, За плугомъ пълъ свободу я. Но турокъ злыя ополченья На наши хлынули владънья... Погибла мать, отецъ убитъ, Со мной спаслась сестра младая, Я съ нею скрылся, повторяя: За все мой мечъ вамъ отомститъ.

Не лиль я слезъ въ жестокомъ горъ, Но грудь стъснило и свело; Нашъ легкій чолнъ помчалъ насъ въ море, Пылало бъдное село, И дымъ столбомъ чернълъ надъ валомъ. Сестра рыдала, — покрываломъ Печальный взоръ полузакрыть; Но слыша тихое моленье, Я принъвалъ ей въ утъшенье: За все мой мечъ вамъ отомститъ.

Плывемъ, и при лунъ сребристой Мы видимъ кръпость надъ скалой. Вверху, какъ тънь, на башнъ мшистой Шагалъ Турецкій часовой; Чалма склонилася къ пищали — Внезапно волны засверкали, И вотъ — въ рукахъ моихъ лежитъ Безъ жизни дъва молодая. Я обнялъ тъло, повторяя:
За все мой мечъ вамъ отомститъ.

Востовъ румянился зарею,
Пристала въ берегу ладья,
И надъ шумящею волною
Сестръ могилу вырылъ я.
Не мраморъ съ надписью унылой
Скрываетъ тъло дъвы милой,
Нътъ, подъ скалою трупъ зарытъ;
Но на скалъ сей неизмънной:
Я начерталъ обътъ священной:
За все мой мечъ вамъ отомститъ.

Съ тъхъ поръ меня Магометане Узнали въ стычкъ боевой, Съ тъхъ поръ, какъ часто въ шумъ браней Обътъ я повторяю свой!
Отчизны гибель, смерть прекрасной,
Все, все припомню въ часъ ужасной;
И всякій разъ, какъ мечъ блеститъ
И падаетъ глава съ чалмою,
Я говорю съ улыбкой злою:
За все мой мечъ вамъ отомститъ.
1823 г.

любимый цвътъ.

(Посвящено Софьъ Владиміровнъ Веневитиновой.)

На небъ всъ цвъты прекрасны, Всь мило свътять надъ землей, Всъ дыщать горней врасотой. Люблю я цвътъ лазури ясный: Онъ часто томностью пленяль Мои задумчивыя въжды И въ сердце робкое вливалъ Отрадный лучь благой надежды; Люблю, люблю я цвътъ луны, Когда она въ поляхъ эеира, Съ дарами сладостнаго мира, Плыветъ какъ Ангелъ тишины; Люблю цвътъ радуги прозрачной, — Но изъ цвътовъ любимой мой Есть цвътъ денницы молодой: Въ семъ цвътъ, какъ въ одеждъ брачной, Сіяетъ утромъ небосклонъ; Онъ цвътъ невинности счастливой;

Онъ чистъ, какъ дѣвы взоръ стыдливой; И ясенъ, какъ младенца сонъ.

Когда и страхъ и рой веселій, Все было чуждо для тебя Въ предълахъ тъсной колыбели: Посланникъ неба, возлюбя Младенца милую безпечность, Тебя лельяль въ тишинь; Ты почивала, но во сив, Душой разгадывая въчность. Встрвчала ясную мечту Улыбкой милою, прелестной.... Что сорвало улыбку ту, Что зрѣла ты — мнѣ неизвѣстно; Но твой хранитель-гость небесной Взмахнулъ таинственнымъ крыломъ, ... И тень ночная пробежала, На небосклонъ заиграла Денница пурпурнымъ огнемъ, И лучъ румянаго разсвъта Твои ланиты озарилъ. Съ тъхъ поръ онъ вдвое сталъ миъ милъ, Сей лучъ румянаго разсвъта. Храни его.... не даромъ онъ На девственныхъ щекахъ возженъ; Не отблескъ красоты напрасной, Нътъ! онъ печать минуты ясной, Залогъ онъ тайный, не земной. На небъ всъ цвъты прекрасны,

Всѣ дышатъ горней красотой; Но межь цвѣтовъ есть цвѣтъ святой, То цвѣтъ денницы молодой.

К. И. ГЕРКЕ.

(При посылев трагедіи Вернера.)

Въ вечерній часъ уединенья, Когда свободный отъ трудовъ Ты сердцемъ жаждешь вдохновенья, Гармоньи сладостной стиховъ.

Читай — мечтай — пусть предъ тобою Завъса времени падеть, И ясной длинной чередою Промчится рядъ минувщихъ лътъ!

Взгляни! — уже могучій геній Расторгнуль хладный мракь могиль; Уже собравь героевь тіни, Тебя ихъ сонмомъ окружиль —

Узнай печать небесной силы
На поблёднёвших ихъ челахъ.
Ен не сгладилъ прахъ могилы,
И тотъ же пламень въ ихъ очахъ....

Но ты во храм'в — вкругъ гробницы *), Гдв милое дитя лежить,

^{*)} Здёсь берется на выдержку одна картина изъ пьесы.

Поють печальныя дёвицы — И къ небу стройный плачъ летить.

"Зачёмъ она, какъ майскій цвёть, "На мить блеснувшій красотою, "Оставила такъ рано свёть "И радость унесла съ собою!"

Ты слушаешь — и слезы пали На листь съ пылающихъ ланить, И чувство тихое печали Невольно сердце шевелитъ. —

Блаженъ, блаженъ, кто въ полдень жизни И на закатъ ясныхъ лътъ, Какъ въ нъдрахъ радостной отчизны, Еще въ фантазіи живетъ.

Кому небесное — родное, Кто сочетаеть съ съдиной Воображенье молодое И разумъ съ пламенной душой.

Въ волшебной чашъ наслажденья Онъ дна пустова не найдеть, И вскликнеть, въ чувствахъ упоенья: "Прекрасному предъловъ нътъ!"

COHET'S.

Къ тебъ, о чистый Духъ, источникъ вдохновенья, На крыліяхъ любви несется мысль моя: Она затеряна въ юдоли заточенья, И все зоветь ее въ небесные края. Но ты облекъ себя въ завъсу тайны въчной: Напрасно силится мой духъ къ тебъ парить. Тебя читаю я во глубинъ сердечной, И мнъ осталося надъяться, любить.

Греми надеждою, греми любовью, лира! Въ преддверьи въчности, греми его хвалой! И еслибъ рухнулъ міръ, затмился свътъ эсира И хаосъ задавилъ природу пустотой, — Греми! Пусть сътуютъ среди развалинъ міра Любовь съ надеждою и върою святой!

нослание къ рожалину.

Я молодъ, другъ мой, въ цвътъ лътъ, Но я извъдалъ жизни море, И для меня ужь тайны нътъ Ни въ пылкой радости, ни въ горъ. Я долго тъшился мечтой, Звъздамъ небеснымъ слъпо върилъ, И океанъ безбрежный мърилъ Своею утлою ладьей.

Съ надменной радостью бывало Глядель я, какъ мой смелый чолнъ Печаталъ следъ свой въ бездне волнъ. Меня пучина не пугала: "Чего страшиться?" думаль я, "Вывало-ль зеркало такъ ясно Какъ зыбь морей?" Такъ думаль я, И гордо плыль, забывь края. И чтожь скрывалось подъ волною? О камень грянуль я ладьею, И въ дребезги моя ладья! Обманутъ небомъ и мечтою, Я прокляль жребій и мечты... Но издали манилъ мив ты. Какъ брегъ призывный улыбался, Тебя съ восторгомъ я обнялъ, Повериль снова наслажденьямь, И съ хладной жизнью сочеталь Души горячей сновиденья. 1824 г.

КЪ СКАРЯТИНУ.

(При посылка ему водевиля *)

Не плодъ высокихъ вдохновеній Іввецъ и другъ тебв приноситъ въ даръ; Не Піэридъ небесный жаръ, Не пламенный восторгъ, не геній

^{*)} Водевиль этотъ состоямъ изъ нѣсколькихъ отрывочнихъ сценъ и былъ каписанъ для домашняго спектакля. Онъ хранился долгое время у А. В. В—ва.

Моей душою обладаль: Нестройной пъснію моя звучала лира,

и въ безумън промънялъ

Улыбку музъ на смъхъ Сатира.

Но ты простишь мив грвхъ безвинный мой;

Ты самъ, прекраснаго искатель,

Искусствъ счастливый обожатель,

Нередко для проказъ забывъ восторгь живой,

Кидая кисть — орудье дарованыя,

Предъ музами гръшилъ наединъ

И сиблымъ углемъ на ствив

Чертилъ фантазіи игривня созданья.

Воображеные безъ оковъ,

Оно какъ бабочка игриво:

То любить надъ блестящей нивой

Порхать въ кругу земныхъ цветовъ,

То въ радугъ, въ цвътамъ небеснымъ мчится.

Не думай, чтобъ во мнв погасъ

Къ высовимъ пъснямъ жаръ! Нътъ, онъ въ душъ таится,

Его пробудить вновь поэта мощный глась,

И смълый ученикъ Байрона,

Я устремлюсь на крыліяхъ мечты

Къ волшебной сторонъ, гдъ лебедь Альбіона

Срывалъ забытые цвъты.

Пусть это сонъ! меня онъ утъщаетъ,

И я не буду унывать,

Пока судьба мив позволяетъ

Восторгъ съ друзьями раздълять.

О другъ! мы разными стезями

Пройдемъ опредъленный путь:

Ты избралъ поприще покрытое трудами, Я захотълъ заранъй отдохнуть;

Подъ мирной сѣнію оливы Я избраль свой пріють; но жребій мой счастливый Не должень славою мелькнуть:

У скромной тишины на лонъ Прокрадется безвъстно жизнь моя, Какъ тихая вода пустыннаго ручья.

Ты бодрый духъ обревъ Беллонъ, И доблесть сильныхъ возлюбя, Обрекъ свей мечъ вумиру громкой славы — Иди! — Но стана шумъ, воинскія забавы, Все будеть чуждо для тебя,

Какъ сна нежданыя видънья, Какъ мира новаго явленья.

Быть можеть, на брегу Дивпра, Когда въ твии подвижнаго шатра

Твои товарищи, драгуны удалые,

Киня отвагой боевой, Сберутся вкругь тебя шумящею толной, И громко зашумять бокалы круговые,— Жалвя мыслію о прежней тишинв, Ты вспомнишь о друзьяхь, ты вспомнишь обо мнв;

Чуждаясь новыхъ сихъ веселій,

О спискъ вспомнишь ты моемъ, Иль взоръ нечаянно остановивъ на немъ, Промолвишь про себя: мы нъкогда умъли Шалить съ пристойностью, проказничать съ умомъ.

1825 г.

COHET'S.

Спокойно дни мои цвёли въ долинё жизни; Меня лелёнли веселіе съ мечтой; Мнё міръ фантазіи былъ ясный край отчизны, Онъ привлекалъ меня знакомой красотой.

Но рано пламень чувствъ, душевные порывы Волшебной силою разрушили меня: Я жизни сладостной теряю лучъ счастливый, Лишь вспоминаніе отъ прежняго храня.

О муза! я нозналъ твое очарованье! Я видълъ молній блескъ, свиръпость ярыхъ волнъ; Я слышалъ трескъ громовъ и бурей завыванье: Но что сравнить съ пъвцомъ, когда онъ страсти полнъ, Прости! питомецъ твой тобою погибаетъ И, погибающій, тебя благословляетъ.

1825 г.

новгородъ.

(Посвящено княгина А. И. Трубецкой.)

Валяй, ямщикъ, да говори: Далеко-ль Новградъ?

"Не далеко, "Версты четыре или три. "Вотъ видишь: что-то тамъ высоко, "Какъ черный лъсъ изъ далека...." — Ну, вижу! это облака. — "Нътъ, это Новградскія кровли."

Ты-ль предо мной, о древній градъ Свободы, славы и торговли! *)
Какъ живо сердцу говорятъ
Холмы разсвянныхъ обломковъ!
Не смолкли въ нихъ твои двла,
И слава предковъ перешла
Въ уста правдивыя потомковъ.
"Ну тройка, духомъ донесла!"
— Потине. Гдв соборъ Софійской?
"Соборъ отсюда, баринъ, близко.
"Вотъ улица, да влево двв,
"А тамъ найдешь хоть самъ собою,
"И крестъ на голубой главв
"Ужъ будетъ прямо предъ тобою."

- Вездъ былаго свъжій слъдъ.
 Въка прошли.... но ихъ полетъ
 Промчался здъсь не разрушая.
 Ямщикъ, гдъ площадь въчевая?
 "Прозванья этого здъсь нътъ...."
 Какъ нътъ?
- "А площадь не далеко "За этой улицей широкой..... "Вотъ площадь. Видишь шесть столбовъ; "По сказкамъ нашихъ стариковъ,

^{*)} Варіанть: «Довольства, славы и торговли.»

"На сихъ столбахъ висълъ когда-то "Огромный колоколъ: но онъ "Давно отсюда увезенъ."

Гдв Волховъ ?

"Онъ передъ тобой _Течетъ подъ этою горой." — Все также онъ волною шумной Играя, весело бъжитъ. Онъ о минувщемъ не груститъ. Такъ все здёсь близко, какъ и прежде. Теперь ты самъ отвътствуй мив, О Новградъ! въ въковой одеждъ Ты предо мной, какъ въ съдинъ Везсмертныхъ витязей ровесникъ. Твой прахъ гласитъ, какъ бдящій въстникъ, О непробудной старинв. Отвътствуй городъ величаний: Гдъ времена цвътущей славы, Когда твой голось, бичь князей, Звуча здёсь мёдью въ бурномъ вёчё, Къ суду или вровавой свчв Сзывалъ послушныхъ сыновей; "Когда твой мечь, гроза соседа, Каралъ Ливонію и Шведа, И эта гордая волна Носила дань войны жестокой. Скажи: гдв эти времена? — Онъ далеко, ахъ, далеко! 1826 г.

поэтъ.

Тебъ знакомъ ли сынъ боговъ, Питомецъ музъ и вдохновенья? Узналъ ди бъ межь земныхъ сыновъ Ты рвчь его, его движенья? — Не вспыльчивъ онъ, и строгій умъ Не блещеть въ шумномъ разговоръ, Но ясный лучь высовихъ думъ Невольно свътить въ ясномъ взоръ. Пусть вкругь него, въ чаду утвхъ, Вунтуетъ вътреная младость, — Безумный крикъ, нескромный смехъ *) И необузданная радость: Все чуждо, дико для него, На все безмолвно онъ взираетъ; Лишь что-то редео съ устъ его Улыбку бъглую срываетъ. Его богиня — простота, И тихій геній размышленья Ему поставиль отъ рожденья Печать молчанья на уста. Его мечты, его желанья, Его боязни, ожиданья, Все тайна въ немъ, все въ немъ молчитъ: Въ душъ заботливо хранитъ Онъ неразгаданныя чувства. Когда-жь внезапно что-нибудь

^{*)} Варіанть: «Безумный крикь, холодный смёхь.»

Взволнуеть огненную грудь, --Душа безъ страха, безъ искусства, Готова вылиться въ рвчахъ И блещеть въ пламенныхъ очахъ. И снова тихъ онъ, и стыдливый Къ землъ онъ опускаетъ взоръ, Какъ будто-бъ слышалъ онъ укоръ За невозвратные порывы. О если встрътишь ты его Съ раздумьемъ на челъ суровомъ, Пройди безъ шума близь него, Не нарушай холоднымъ словомъ Его священныхъ, тихихъ сновъ! Взгляни съ слезой благоговънья, И молви: это сынъ боговъ, Питомецъ музъ и вдохновенья! 1826 r.

моя молитва.

Души невидимый хранитель!
Услышь моленіе мое:
Благослови мою обитель
И стражемъ стань у врать ее,
Да черезъ мой порогъ смиренный
Не прешагнеть, какъ тать ночной,
Ни обольститель ухищренный,
Ни лънь съ убитою душой,
Ни зависть съ глазомъ ядовитымъ,
Ни ложный другъ съ коварствомъ скрытымъ.

Всегда надежною броней Пусть будетъ грудь моя одъта, Да не сразить меня стрвлой Измѣна мстительнаго свѣта. Не отдавай души моей На жертву суетнымъ желаньямъ, Но воспитай спокойно въ ней Огонь возвышенныхъ страстей. Уста мои сомкни молчаньемъ, Всв чувства тайной освии; Да взоръ холодный ихъ не встрътить, И лучь тщеславья не просветить На незамъченные дни. Но въ душу влей покоя сладость, Посви надежды свмена, И отжени отъ сердца радость: ---Она — невърная жена. 1826 г.

нослание къ рожалину.

Оставь, о другь мой, ропоть твой, Смири преступныя волненья:
Не ищеть въ чужъ утъшенья Душа богатая собой.
Не върь, чтобъ люди разгоняли Сердецъ возвышенныхъ печали.
Скупая дружба ихъ даритъ
Пустыя ласки, а не счастье;

Гордись, что ими ты забыть, --Ихъ равнодушное безстрастье Тебъ да будеть похвалой. Зарв не улыбался камень; Такъ и сердецъ небесный пламень Толив бездушной и пустой Всегда быль тайной непонятной. Встрвчай ее съ душой булатной И не страшись отъ слабыхъ рукъ Ни сильныхъ ранъ, ни тажкихъ мукъ. О еслибъ могъ ты быстрымъ взоромъ Мой новый жребій пробъжать, Ты пересталь бы искушать Судьбу неправеднымъ укоромъ. Когда бъ ты видель этоть мірь, Гдв взоръ и вкусъ разочарованъ, Гдв чувство стынеть, умъ окованъ И гдъ тщеславіе — кумиръ; Когда бъ въ пустынъ многолюдной Ты не нашелъ души одной, --Повітрь, ты бъ навсегда, другь мой, Забыль свой ропоть безразсудной. Какъ часто въ пламени речей, Носяся мыслью средь друзей, Мечтв обманчивой послушный, Давалъ я руку простодушно — Никто ни жалъ руки моей. Здесь лаской жаркаго привета Душа младая не согръта. Не нахожу я здёсь въ очахъ

Огня, возженнаго въ нихъ чувствоиъ, И слово, сжатое искусствомъ, Невольно мреть въ моихъ устахъ. О еслибы могли моленья Достигнуть до небесъ скупыхъ, Не новой чаши наслажденья, Я бъ прежнихъ дней просилъ у нихъ. Отдайте мив друзей моихъ: Отдайте пламень ихъ объятій, Ихъ тихій, но горячій взоръ, Языкъ безполвныхъ рукожатій И вдохновенный разговоръ. Отдайте сладостные звуки: Они мив счастія поруки, — Такъ тихо вѣяли они Огнемъ любви въ душв невъжды И свътлой радугой надежды Мои расписывали дни.

Но нътъ! не все мнъ измънило: Еще одинъ мнъ въренъ другъ, Одинъ онъ для души унылой Друзей здъсь замъняетъ вручъ. Его бесъды и урови Ловлю вниманьемъ жаднымъ я: Они и ясны и глубоки, Какъ будто волны бытія: Въ его фантазіи богатой Я полной жизнію ожилъ И ранній омытъ не купилъ Восторгомъ раннею утратой.
Онъ самъ не жертвуетъ страстямъ,
Онъ самъ не въритъ ихъ мечтамъ;
Но какъ созданія свидътель,
Онъ развернулъ всей жизни ткань.
Ему порокъ и добродътель
Равно несутъ покорно дань,
Какъ гордому владыкъ міра:
Мой другъ, узналъ ли ты Шекспира?
1826 г.

къ моей богинв.

Не думы гордыя вздымаютъ Страстей исполненную грудь, Не волны Невскія мішають Душъ усталой отдохнуть, — Когда я вдоль реки широкой Скитаюсь мрачный, одинокой, И взоръ блуждаетъ по брегамъ, Языкъ невнятное лепечетъ, И тихо плещущимъ волнамъ Слова прерывистыя мечетъ. Тогда отъ мыслей далека И гордан надежда славы, И тихоструйная ръка, И Невскій берегь величавый; Тогда не робкая тоска Безсильнымъ сердцемъ обладаетъ И тайный ропоть мив внушаеть.... Тебъ понятенъ ропотъ сей, О Божество души моей! Холодной жизнію безстрастья, Ты знаешь, мив-ль дышать и жить? Ты знаешь, мив-ль боготворить Душой несозданной для счастья, Толны привычныя мечты, И дани рабольпной службы Носить кумиру суеты? Нътъ, нътъ! и теплые дни дружбы, И дни горячіе любви Къ другому сердце пріучили: Другой огонь они въ крови, Другія чувства поселили. Что счастье мив? зачемъ оно? Не ты-ль твердила, что судьбою Оно лишь робкимъ здёсь дано, Что счастья съ пламенной душою Нельзя въ семъ мірѣ сочетать, Что для него мнв не дышать....

О будь благословенна мною!
Оно священно для меня
Твое пророчество несчастья,
И, какъ завътъ, его храня
Съ какимъ восторгомъ сладострастья
Я жду губительнаго дня
И торжества судьбы коварной!
И еслибъ умъ неблагодарной
На небо возропталъ въ бъдахъ;

٠.

- 7

Твое бъ явленье, Ангелъ милый,
Какъ даръ небесъ, остановило
Проклятье на моихъ устахъ.
Мою бы грудь исполнилъ снова
Благоговънія святаго
Цълебный взглядъ твоихъ очей,
И снова бы въ душъ моей
Воскресло силы наслажденье,
И счастья гордое презрънье,
И сладостная тишина.
Вотъ, вотъ что грудь мою вздымаетъ
И тайный ропотъ миъ внушаетъ!
Вотъ чъмъ душа моя полна,
Когда я вдоль Невы широкой
Скитаюсь мрачный, единокой.

эдегія.

Волшебница! Какъ сладко пъла ты
Про дивную страну очарованья,
Про жаркую отчизну красоты!
Какъ я любилъ твои восноминанья,
Какъ жадно я внималъ словамъ твоимъ
И какъ мечталъ о крав неизвъстномъ!
Ты упилась симъ воздухомъ чудеснымъ,
И ръчь твоя такъ страстно дышетъ имъ!
На цвътъ небесъ ты долго наглядълась
И цвътъ небесъ въ очахъ намъ принесла.
Душа твоя такъ ясно разгорълась
И новый огнь въ груди моей зажгла.

Но этоть огнь томительный, матежной, Онъ не горить любовью тихой, нёжной, — Нёть! онъ и жжеть, и мучить, и мертвить, Волнуется измёнчивымь желаньемь, То стихнеть вдругь, то бурно закипить, И сердце вновь пробудится страданьемь. Зачёмь, зачёмь такъ сладко пёла ты? Зачёмь и я внималь тебё такъ жадно, И съ усть твоихъ, пёвица красоты, Пиль ядъ мечты и страсти безотрадной?

RILATH.

Италія, отчизна вдохновенья! Придеть мой чась, когда удастся мив Любить тебя съ восторгомъ наслажденья. Какъ я любилъ твой образъ въ свътломъ снъ. Безъ горя я съ мечтами распрощаюсь, И на яву, въ кругу твоихъ чудесъ, Подъ яхонтомъ сверкающихъ небесъ, Младой душой по вол'в разыграюсь. Тамъ радостно я буду пъть зарю И поздравлять царя светиль съ восходомь: Тамъ гордо я душою воспарю Подъ пламеннымъ необозримымъ сводомъ. Какъ весело въ немъ угро золотое И сладостна серебряная ночь! О міръ суеть! тогда отъ мыслей прочь! Въ объятьяхъ и въ творческомъ поков,

Я буду жить въ минувшемъ средь пѣвцовъ, Я вызову ихъ тѣни изъ гробовъ! Тогда, о Тассъ, твой мирный сонъ нарушу, И твой восторгъ, полуденный твой жаръ Прольеть и жизнь и пѣсней сладкихъ даръ Въ холодный умъ и въ сѣверную душу.

три розы,

Въ глухую степь земной дороги,
Эмблемой райской красоты,
Три розы бросили намъ боги,
Эдема лучшіе цвёты.
Одна подъ небомъ Кашемира
Цвётеть близь свётлаго ручья;
Она любовница зефира
И вдохновенье соловья.
Ни день, ни ночь она не вянеть,
И если кто цвётокъ сорветь,
Лишь только утра лучь проглянеть,
Свёжее роза разцвётеть.

Еще прелестиве другая:
Она, румяною зарей,
На раннемъ небъ разцвътая,
Плъняеть яркой красотой.
Свъжъй отъ этой розы въеть,
И весельй ее встръчать:
На мигь одинъ она алъеть,
Но съ каждымъ днемъ цвътеть опять.

Еще свъжъй отъ третьей въетъ, Хотя она не въ небесахъ; Ее для жаркихъ устъ лельетъ Любовь на дъвственныхъ щекахъ. Но эта роза скоро вянетъ; Она пуглива и нъжна, И тщетно утра лучъ проглянетъ — Не разцвътетъ опять она.

домовой.

Что ты, Параша, такъ блёдна?

— "Родная! домовой проклятый Меня зваль нынче у окна.
Весь въ черномъ, какъ медвёдь лохматый, Съ усами, да какой большой!
Вёкъ не видать тебё такого."

— Перекрестися, ангель мой!
Тебё ми видёть домоваго?

Ты не спала, Параша, ночь.

— "Родная! страшно; не отходить Проклятый бъсь отъ двери прочь; Стучить задвижкой, дышеть, бродить, Въ съняхъ мнъ шепчеть: отопри!"

— Ну что же ты? — "Да я ни слова."

— Э, полно, ангелъ мой, не ври; Тебъ ли слышать домоваго?

Параша! ты не весела;
Опять всю ночь ты прострадала.

— "Нѣтъ, ничего: я ночь спала".

— Какъ ночь спала? ты тосковала,
Ходила, отпирала дверь;
Ты вѣрно испугалась снова?

— "Нѣтъ, нѣтъ, родимая, повѣрь!
Я не видала домоваго".

КЪ ЛЮБИТЕЛЮ МУЗЫКИ.

Молю тебя, не мучь меня: Твой шумъ, твои рукоплесканья. Языкъ притворнаго огня, Безсмысленныя восклицанья Противны, ненавистны мнв. Повърь, привычки рабъ холодный, Не такъ, не такъ восторгъ свободный Горить въ сердечной глубинъ. Когда-бъ ты зналъ, что эти звуки, Когда бы тайный ихъ языкъ Ты чувствомъ пламеннымъ проникъ, ---Поверь, уста твои и руки Сковались бы, какъ въ часъ святой, Благоговъйной тишиной. Тогда-бъ ты не желалъ блеснуть Личиной страсти принужденной, Но ты-бъ въ углу, уединенной, Таилъ вселюбящую грудь.

Тебъ бы люди были братья, Ты-бъ втайнъ слезы проливалъ И къ нимъ горячія объятья, Какъ другъ вселенной, простиралъ.

къ пушкину.

Извъстно мив: доступенъ Геній Для гласа искреннихъ сердецъ. Къ тебъ, возвышенный иввецъ, Взываю съ жаромъ пъснопъній. Разсый на мигь восторгь святой, Раздумье творческаго духа, И снисходительнаго слуха Младую Музу удостой. Когда пророкъ свободы сивлый, Тоской измученный Поэтъ, Покинуль мірь осиротвлый, Оставя славы жаркій свёть И тънь всемірныя печали, Хвалебнымъ громомъ прозвучали Твои стихи ему во следъ. Ты дань принесъ увядшей силь, И славъ на его могилъ. Другое имя завъщалъ. Ты тише, слаще воспѣвалъ У Музъ похищеннаго Галла. Волнуясь пъснію твоей, Въ груди восторженной моей

Душа рвалась и трепетала. Но ты еще не доплатилъ Каменамъ долга вдохновенья; Къ хваламъ оплаканныхъ могилъ Прибавь веселыя хваленья. Ихъ ждетъ еще одинъ пъвецъ: Онъ нашъ, -- жилецъ того же свъта. Давно блестить его вънецъ; Но славы громкаго привъта Звучный, отрадный глась поэта. Наставникъ нашъ, наставникъ твой, Онъ кроется въ странъ мечтаній, Въ своей Германіи родной. Досель хладеющія длани По струнамъ бъгаютъ порой, И перерывчатые звуки, Какъ послъ горестной разлуки Старинной дружбы милый гласъ, Къ знакомымъ думамъ клонять насъ. Досель въ немъ сердце не остыло, И върь, онъ съ радостью живой Въ пріють старости унылой Еще услышить голось твой. И можеть быть, тобой плененный, Последника жаромъ вдохновенный, Отвътно лебедь запоеть И къ небу съ пъснію прощанья Стремя торжественный полеть, Въ восторгъ дивнаго исчтанья Тебя, о Пушкинъ, назоветъ.

КЪ ИЗОБРАЖЕНИО УРАНИИ.

(Въ альвомъ.)

Пять звіздь увінчали чело вдохновенной:
Поэзіи дивной звізда,
Звізда благодатная милой надежды,
Звізда беззакатной любви,
Звізда лучезарная искренней дружбы,
Что цятая будеть звізда?
Да будеть она, благотворные боги,
Душевнаго счастья звіздой.

на новый, 1827 годъ.

Такъ снова годъ какъ тёнь мелькнулъ, Сокрылся въ сумрачную вёчность И быстрымъ бёгомъ упрекнулъ Мою лёнивую безпечность.
О еслибъ онъ меня спросилъ:
"Гдё плодъ горячихъ обёщаній?
"Чёмъ ты меня остановилъ?"
Я не нашелъ бы оправданій
Въ мечтахъ разсёянныхъ моихъ.
Мнё нечёмъ заглушить упрека!
Но слушай ты, бёглецъ жестокой!
Клянусь тебё въ прощальный мигъ:

Ты не умчался безъ возврату; Я за тобою полечу И наступающему брату Весь тяжкій долгь свой доплачу.

ATT TROUPHHOMEHIE.

О жизнъ, коварная Сирена, Вакъ сильно ты къ себв влечешь! Ты изъ цветовъ блестящихъ вьешь. Оковы гибельнаго плана. Ты кубокъ счастья подаешь, Ты пъсни радости поешь; Да въ кубкъ счастья — лишь изивна, И въ пъсняхъ радости - все ложь. Не мучь напраснымъ искущеньемъ Груди истерзанной моей И не лови моихъ очей Какимъ-то свътлымъ привидъньемъ. Тебъ мон скупыя длани Не принесуть покорной дани, И не тебъ я обреченъ. Твоей пленительной изменой Ты можешь въ сердце поселить Минутный огнь, раздоръ мгновенный, Ланиты бледностью покрыть, Отнять покой, безпечность, радость И освнить печалью младость; Но не отымешь ты, повфрь,

Любви, надежды, вдохновеній!
Нізть! ихъ спасеть мой добрый геній,
И не мои они теперь.
Я посвящаю ихъ отныніз
На візкъ Поэзіи святой
И съ страшной клятвой и мольбой
Кладу на жертвенникъ бітини.

крылья жизни.

На легкихъ крылышкахъ Летають ласточки; Но легче крылышки У жизни вътреной. Не знаетъ въ юности Она усталости И радость ръзвую Беретъ довърчиво Къ себъ на крылія. Летитъ, любуется Прекрасной ношею.... Но скоро тягостна Ей гостья милая, Устали крылышки, И радость развую Она стряхаетъ съ нихъ. Печаль ей кажется Не столь тяжелою, И прихотливая

Печаль туманную Веретъ на крилія И вдаль пускается Съ подругой новою. Не крилья легвія Все боль, болье Подъ вышей клонятся, И вскорѣ падаетъ Съ нихъ гостья новая, И жизнь усталая Одна, безъ бремени, Летитъ свободнве: Лишь только въ крыліяхъ Едва зам'втные Отъ ношей брошенныхъ Следы осталися — И отпечатались На легкихъ перышвахъ Два цвъта блъдные: Не много свътлаго Отъ ръзвой радости, Немного темнаго Отъ гостьи сумрачной.

r.

TPH YYACTH.

Три участи въ мірѣ завидны, друзья! Счастливецъ, кто вѣка судьбой управляетъ, Въ душѣ неразгаданной думы тая. Онъ сѣетъ для жатвы, но жатвъ не сбираетъ; Народовъ признанья ему не хвала, Народовъ проклятья ему не упреки: Въкамъ завъщаетъ онъ замыслъ глубокій, По смерти безсмертнаго зръютъ дъла.

Вавиднъй Поэта удълъ на земли.
Съ младенческихъ лътъ онъ сдружился съ природой
И сердце Камены отъ хлада спасли,
И умъ неповорный воспитанъ свободой,
И лучъ вдохновенья зажегся въ очахъ.
Весь міръ облекаетъ онъ въ стройные звуки;
Стъснится ли сердце волненіемъ муки —
Онъ выплачетъ горе въ горючихъ стихахъ.

Но върьте, о други! счастливъй стократъ Безпечный питомецъ забавы и лъни. Глубокія думы души не мутятъ, Не знаетъ онъ слезъ и огня вдохновеній, И день для него, какъ другой, пролетълъ, И будущій снова онъ встрътить безпечно, И сердце увянетъ безъ муки сердечной — О рокъ! что ты не далъ мнъ этотъ удълъ?

жизнь.

Сначала жизнь плівняєть нась: Въ ней все тепло, все сердце гріветь, И, какъ заманчивый разсказь, Нашъ умъ причудливый леліветь. Кой-что страшитъ издалека, — Но въ этомъ страхъ наслажденье: Онъ веселитъ воображенье, Какъ о волшебномъ приключеньъ Ночная повъсть старика. Но кончится обманъ игривой! Мы привыкаемъ къ чудесамъ. Потомъ — на все глядимъ лѣниво, Потомъ — и жизнь постыла намъ. Ея загадка и завязка Уже длина, стара, скучна, Какъ пересказанная сказка. Усталому предъ часомъ сна.

КЪ МОЕМУ ПЕРСТНЮ.

Ты быль отрыть въ могилѣ пыльной, Любви глашатай вѣковой, И снова пыли ты могильной Завѣщанъ будещь, перстень мой. Но не любовь теперь тобой Благословила пламень вѣчный И надъ тобой, въ тоскѣ сердечной, Святой обѣть произнесла; Нѣтъ! дружба въ горькій часъ прощанья Любви рыдающей дала Тебя залогомъ состраданья. О будь мой вѣрный талисманъ! Храни меня отъ тяжкихъ ранъ

И свъта и толны ничтожной, Отъ фдкой жажды славы ложной, Отъ обольстительной мечты И отъ душевной пустоты. Въ часы холоднаго сомивныя Надеждой сердце оживи, И если въ скорбяхъ заточенья, Вдали отъ Ангела любви. Оно замыслить преступленье.... Ты дивной силой укроти Порывы страсти безнадежной И отъ груди моей мятежной Свинецъ безумства отврати. Когда же я въ часъ смерти буду Прощаться съ темъ, что здёсь люблю, --Тогда я друга умолю, Чтобъ онъ съ моей руки холодной Тебя, мой перстень, не снималь, Чтобъ насъ и гробъ не разлучалъ. И просьба будеть не безплодна: Онъ подтвердить объть мнъ свой Словами клятвы роковой. Въка промчатся, и быть можетъ, Что кто-нибудь мой прахъ встревожить И въ немъ тебя отроетъ вновь; И снова робкая любовь Тебъ прошенчетъ суевърно Слова мучительныхъ страстей, И вновь ты другомъ будешь ей, Какъ былъ и мнъ, мой перстень върной.

3 A B B III A H I E.

Вотъ гласъ последняго страданья! Внимайте: воля мертвеца Страшна какъ голосъ прорицанья. Внимайте: чтобъ сего кодыца Съ руки холодной не снимали; — Пусть съ нимъ умрутъ мои печали И будуть съ нимъ схоронены. Друзьямъ — привътъ и утъщенье! Восторговъ лучтія игновенья Мной были имъ посвящены. Внимай и ты, моя богиня! Теперь души твоей святыня Мнъ и доступнъй и яснъй — Во мив умолкнуль глась страстей, Любви водшебство позабыто. Исчезла радужная мгла, И то, что расмъ ты звала, Передо мной теперь открыто. Приближься! вотъ могилы дверь, И все позволено теперь — Я не боюсь сужденій світа. Теперь могу тебя обнять, Теперь могу тебя лобзать, Какъ съ первой радостью нривъта Въ раю ликъ ангеловъ святыхъ Устами чистыми лобзали,

Когда бы мы въ восторгв ихъ За гробомъ сумрачнымъ встрвчали.... Но эту рвчь ты позабудь — Въ ней тайный ропотъ изступленья: Зачень холодныя сомненья Я вылиль въ иламенную грудь? Къ тебв одно, одно моленье — Не забывай.... Прочь увъренья! Клянись.... Ты въришь, милый другъ, Что за могильнымъ симъ предъломъ Душа моя простится съ теломъ И будеть жить вавъ въчный духъ, Безъ образовъ, безъ тымы и свъта, Однимъ нетлѣніемъ одѣта. Сей духъ, какъ въчно бдящій взоръ, Твой будеть спутникъ неотступный, И если памятью преступной Ты изменишь... Беда! съ техъ поръ Я тайно облекусь въ укоръ, Къ душъ прилипну въроломной, Въ ней пищу мщенія найду, И будеть сердцу грустно, томно, -А я какъ червь не отпаду.

YTBMEHIE.

Блаженъ, кому судьба вложила Въ уста высокій даръ ръчей, Кому она сердца людей Волшебной силой покорила;

Какъ Прометей похитиль онъ Творящій лучь, небесный пламень, И вкругъ себя, какъ Пигмальонъ, Одушевляеть хладный камень. Немногіе сей дивный даръ Въ удваъ счастливый получають, И ръдко, ръдко сердца жаръ Уста послушно выражають. Но если въ душу вложена Хоть искра страсти благородной, — Повърь, не даромъ въ ней она; Не теплится она безплодно: Не съ твиъ судьба ее зажгла, Чтобъ смерти хладная зола Ее на въки потушила; Нътъ! — что въ душевной глубинъ, Того не унесеть могила; Оно останется по мнв.

Души пророчества правдивы. Я зналъ сердечные порывы, Я былъ ихъ жертвой, я страдалъ И на страданья не ропталъ; Мий было въ жизни утйшенье, Мий тайный голосъ обищалъ, Что не напрасное мученье До срока растерзало грудь Онъ говорилъ: "когда нибудь "Созрйетъ плодъ сей муки тайной, "И слово сильное случайно

"Изъ груди вырвется твоей. "Уронишь ты его не даромъ; "Оно чужую грудь зажжеть, "Въ нее какъ искра упадеть, "А въ ней пробудится пожаромъ."

XXXV.

Я чувствую, во мив горить Святое пламя вдохновенья, Но къ темной цёли духъ паритъ.... Кто мив укажетъ путь спасенья? Я вижу, жизнь передо мной Кипитъ какъ океанъ безбрежной.... Найду ли я утесъ надежной, Гдё твердой обопрусь ногой? Иль, въчнаго сомивныя полный, Я буду горестно глядёть На перемънчивыя волны, Не зная, что любить, что пъть?

Открой глаза на всю природу, — Мнѣ тайный голось отвѣчаль, — Но дай имъ выборь и свободу. Твой чась еще не наступаль; Теперь гонись за жизнью дивной И каждый мигъ въ ней воскрешай, На каждый звукъ ея призывной Отзывной пѣснью отвѣчай!

Когда-жь минуты удивленья
Какъ сойть туманный пролетять,
И тайны въчнаго творенья
Яснъй прочтеть спокойный взглядъ: —
Смирится гордое желанье,
Обнять весь міръ въ единый мигъ,
И звуки тихихъ струнъ твоихъ
Сольются въ стройныя созданья. —

Не лживъ сей голосъ прорицанья, И струны върныя мои
Съ тъхъ поръ душъ не измъняли. Пою то радость, то печали,
То пылъ страстей, то жаръ любви, И бъглымъ мыслямъ простодушно Ввъряюсь въ пламени стиховъ.
Такъ соловей въ тъни дубровъ, Восторгу краткому послушной,
Когда на долы ляжетъ тънь,
Уныло вечеръ воспъваетъ,
А утромъ весело встръчаетъ
Въ румяномъ небъ ясный день.

поэтъ и другъ.

другъ.

Ты въ жизни только разцвътаешь, И ясенъ міръ передъ тобой, — За чъмъ же ты въ душъ младой Мечту коварную питаешь?

Кто близокъ къ двери гробовой, Того уста не пламенъютъ, Не такъ душа его пылка, Въ привътахъ взоры не свътлъютъ, И такъ ли жметъ его рука?

поэтъ.

Мой другъ! слова твои напрасны. Не лгутъ мнѣ чувства: ихъ языкъ Я понимать давно привыкъ, И ихъ пророчества мнѣ ясны. Душа сказала мнѣ давно: Ты въ мірѣ молніей промчишься! Тебѣ все чувствовать дано, Но жизнью ты не насладишься.

другъ.

Не такъ природы строгъ завътъ. Не презирай ен дарами: Опа на радость юныхъ лътъ Даетъ надежды намъ съ мечтами. Ты гордо слышалъ ихъ привътъ: Она желаніе святое Сама зажгла въ твоей крови И въ грудь для пламенной любви Вложила сердце молодое.

поэтъ.

Природа не для всёхх очей Покровъ свой тайный подымаеть:

Мы всв равно читаемъ въ ней, Но кто, читая, понимаеть ? Лишь тотъ, кто съ юношескихъ дней Былъ пламеннымъ жрецомъ искусства, Кто жизни не щадиль для чувства, Вънецъ мученьями купилъ, Надъ суетой вознесся духомъ, И сердца трепеть жаднымъ слухомъ, Какъ въщій голось, изловиль! — Тому, кто жребій довершиль, Потеря жизни не утрата — Безъ страха міръ покинеть онъ. Судьба въ дарахъ своихъ богата, И не одинъ у ней законъ: Тому — процвъсть съ развитой силой И смертью жизни следъ стереть, Другому — рано умереть, Но жить за сумрачной могилой!

другъ.

Мой другъ! зачёмъ обманъ питать? Нётъ! дважды жизнь насъ не лелёетъ. Я то люблю, что сердце грёетъ, Что я своимъ могу назвать, Что наслажденье въ полной чашё Намъ предлагаетъ каждый день; А что за гробомъ, то не наше: — Пусть величаютъ нашу тёнь, . Нашъ голый остовъ отрываютъ, По волё вётренной мечты,

Даютъ ему лице, черты, И призракъ славой называютъ!

поэтъ.

Нътъ, другъ мой! славы не брани; Душа сроднилася съ мечтою: Она надеждою благою Печали озаряла дни. Мнъ сладко върить, что со мною Не все, не все погибнетъ вдругъ, И что уста мои въщали — Веселья мимолетный звукъ, Напъвъ задумчивой печали, — Еще напомпить обо мнъ, И сильный стихъ не разъ встревожитъ Умъ пылкій юноши во снъ, И старецъ со слезой, быть можетъ, Труды нелживые прочтеть; --Онъ въ нихъ души печать найдетъ И молвить слово состраданья: "Какъ я люблю его созданья! "Онъ дышетъ жаромъ красоты, "Въ немъ умъ и сердце согласились, "И мысли полныя носились "На легкихъ крыліяхъ мечты. "Какъ зналъ онъ жизнь, какъ мало жилъ!"

Сбылись пророчества поэта, И другъ, въ слезахъ, съ началомъ лъта Его могилу посътилъ. Какъ зналъ онъ жизнь, какъ мало жилъ!

послъдніе стихи.

Люби питомца вдохновенья И гордый умъ предъ нимъ склоняй; Но въ чистой жаждъ наслажденья Не каждой арфъ слухъ ввъряй. Не много истинныхъ пророковъ Съ печатью тайны на челъ, Съ дарами выспреннихъ уроковъ, Съ глаголомъ неба на землъ.







земная участь художника.

дъйствіе первое.

Передъ восходомъ солнечнымъ.

художникъ,

за своимъ станкомъ. Онъ только что поставиль на него портреть толстой, дурной собою кокетки.

(Дотронулся кистью и останавливается.) Что за лицо! совсёмъ безъ выраженья! Долой! нётъ болёе терпёнья.

(Снимаеть портреть).

Нѣтъ! я не отравлю сихъ сладостныхъ мгновеній, Пока вы нѣжитесь въ объятьяхъ сна. Предметы милые трудовъ и попеченій, Малютки, добрая жена!

(Подходить нь окну).

Какъ щедро льешь ты жизнь, прекрасная денница! Какъ юно бьется грудь передъ тобой! Какою сладкою слезой. Туманится моя зъница!

(Ставит на станок картину, представляющую во весь рость Венеру Уранію).

Небесная! для сердца образъ твой Какъ первая улыбка счастья. Я чувствами, душой могу обнять тебя,
Какъ радостный женихъ, съ восторгомъ сладострастья.
Я твой создатель; ты моя;
Вогиня! ты я самъ, ты болье чымъ я;
Я твой, владычица вселенной!
И я лишусь тебя! я за металлъ презрынной
Отдамъ тебя глупцу, чтобъ па его стынь
Служила ты болтливости надменной,
И не напомнила, быть можетъ, обо мны!....

Онъ смотрить съ комнату, идъ спять его дъти).
О дъти!.... Будь для нихъ богиней пропитанья!
Я понесу тебя къ сосъду-богачу
И за тебя, предметъ очарованья,
На хлъбъ малюткамъ получу....
Но онъ не будетъ обладать тобою,
Природы радость и душа!
Ты будешь здъсь, ты будешь въкъ со мною,
Ты вся во мнъ: тобой дыша,
Я счастливъ, я живу твоею красотою.

(Ребенокъ кричитъ съ комнатъ).

художникъ.

O Boxe!

жена художника (просыпается).

Разсв'вло. — Ты всталь уже, другь мой! Сходи-жь скор'ве за водой, Да разведи огонь, чтобъ воду вскипятить: Пора ребенку супъ варить.

художникъ.

(останавливается передъ своей картиной).

Небесная!

старшій сынъ его.

(вскочиль съ постели и босой подбълаеть къ нему) И я тебъ, пожалуй, помогу.

художникъ.

Кто? — ты!

сынъ.

Да, н.

художникъ.

Бъги-жь за щепками!

сынъ.

Бѣгу.

дъйствіе второе.

художникъ.

Кто тамъ. стучится у дверей?

сынъ.

Вчерашній господинь съ женою.

художникъ.

(ставить опять на станокь отгратительный портреть). Такъ за портреть возьмуся поскоръй. KEHA.

Пиши и деньги за тобою.

господинъ и госпожа (входять).

господинъ.

Вотъ встати мы!

госпожа.

А я какъ дурно ночь спала!

EEHA.

А какъ свъжи! нельзя не подивиться.

господинъ.

Что это за картина близь угла?

художникъ.

Смотрите, какъ бы вамъ не запылиться.

(no rochosen).

Прошу, сударыня, садиться.

господинъ.

(смотрить на портреть)

Характеръ-то, характеръ-то не тотъ. Портретъ хорошъ, конечно такъ, Но все нельзя сказать никакъ, Что это полотно живетъ.

художникъ.

(про себя).

Чего онъ ищетъ въ этой рожв?

господинъ.

(береть картину изь угла.)

А! вотъ вашъ собственный портретъ.

художникъ.

Онъ быль похожь: ему ужъ десять лътъ.

господинъ.

Нътъ! можно и теперь узнать.

госпожа.

(будто-бы взглянувь на него).

Похоже.

•господинъ.

Тогда вы были помоложе.

EEHA.

(подходить съ корзиной на рукъ и говорить тихонько мужу).

Иду на рынокъ я: дай рублв.

художникъ.

Да нъть его.

REHA.

Безъ денегъ, милый другъ, не купишь ничего.

художникъ.

Пошла!

господинъ.

Но ваша кисть теперь смъльй.

художникъ.

Пишу, какъ пишется: что лучше, что похуже.

господинъ.

(подходить къ станку).

Вотъ браво! ноздри-то поуже, Да взглядъ пожалуста живъй!

художникъ.

(про себя). 🌄

О Боже мой! что за мученье!

муза.

(невидимая для других, подходить въ нему).

Уже, мой сынь, теряешь ты терпвнье?

Но участь смертныхъ всвхъ равна.

Ты говоришь: она дурна!

За то платить она должна.

Пусть этотъ сумазбродъ болтаетъ —

Тебя живой восторгъ, художникъ, награждаетъ.

Твой даръ некупленный, источникъ красоты —

Онъ счастіе твое, имъ утвшайся ты.

Повврь: лишь тотъ знакомъ съ душевнымъ наслажденьемъ,

Кто пріобрвлъ его трудами и терпвньемъ!

И небо безъ земли наскучило-бъ богамъ.

За чвмъ же ты взываешь къ небесамъ?

Тебв любовь вврна, твой сонъ всегда пріятенъ,

И честью ты богатъ, хотя ты и не знатенъ.

АПОӨЕОЗА ХУДОЖНИКА.

Театръ представляетъ великолѣпную картинную галерею Картины всѣхъ школъ висятъ въ широкихъ золотыхъ рамахъ. Много любопытныхъ посѣтителей. Они ходятъ взадъ и впередъ. На одной сторонѣ сидитъ ученикъ и списываетъ картину.

ученикъ.

(встаеть, кладеть на столь палитру и кисти, а самь становится позади стула.)

По цълымъ днямъ я здъсь сижу! Я весь горю, я весь дрожу, Пишу, мараю, такъ что самъ Не върю собственнымъ глазамъ. Всв правила припоминаль, Все вымфриль, все разсчиталь, И жадно взоръ гонялся мой За каждой краской и чертой. То вдругъ кидаю кисть свою; Какъ полубъщеный встаю Въ поту, усталый отъ труда, Гляжу туда, гляжу сюда, Съ картины не спускаю глазъ, Стою за стуломъ битый часъ — И что же? для бъды моей Никакъ я копіи своей Не превращу въ оригиналъ.

Тамъ жизнь холсту художникъ далъ, Свободой дышетъ кисть его, — Здъсь все и сухо и мертво.
Тамъ страстью все оживлено — Здъсь принужденіе одно; Что тамъ горитъ, прозрачнъй дня, То вяло, грязно у меня.
Я вижу, даромъ я тружусь И съ жаромъ вновь за кисть берусь! Но что ужаснъе всего, Что верхъ мученья моего: Ошибки ясны мнъ какъ свътъ, А ихъ поправить силы нътъ.

М АСТЕРЪ (подходить.)

Мой другь! за это похвалю;
Твое старанье я люблю.
Не даромъ я твержу всегда,
Что нѣтъ успѣха безъ труда.
Трудись! запомни мой урокъ,
Ты самъ увидишь въ этомъ прокъ.
Я это знаю по себѣ:
Что нынѣ кажется тебѣ
Непостижимо, высоко,
То нечувствительно, легко
Рождаться будетъ подъ рукой,
И наконецъ, любезный мой,
Искусство, весь науки плодъ,
Тебъ въ пять пальцевъ перейдетъ.

ученикъ.

Увы! какъ много здъсь дурнаго, А объ ошибкахъ вы ни слова.

MACTEP'S.

Кому же все дается вдругъ? Я вижу съ радостью, мой другъ, Что съ каждымъ днемъ твой даръ растетъ. Ты самъ собой пойдешь впередъ. Кой-что со временемъ поправимъ, Но это мы теперь оставимъ.

(Уходить.)

УЧЕНИКЪ

(смотря на картину.)

Неть, неть покоя для меня, Пока не все постигнуль я!

> ЛЮВИТЕЛЬ (подходить кь нему.)

Мнѣ жалко видѣть, сударь мой, Что вы такъ трудитесь напрасно, Идете темною тропой И позабыли путь прямой: Натура — воть источникъ ясный, Откуда черпать вы должны. Въ ней тайны всё обнажены: И жизнь тѣлесъ, и жизнь духовъ. Натура школа мастеровъ. Примите-жь искренній совѣть: Зачѣмъ топтать избитый слѣдъ? —

Чтобъ быть копистомъ наконецъ? Натура, вотъ вамъ образецъ! Одна натура, сударь мой, Наставить васъ на путь прямой.

ученикъ.

Все это часто слышаль я,
Все испытала кисть моя.

Я за природою гонялся,
Случайно успъваль кой въ чемъ,
Но большей частью возвращался
Съ укоромъ, мукой и стыдомъ.
Нътъ! это трудъ несовершимый!
Природа — книга не по насъ:
Ея листы необозримы,
И мелокъ шрифтъ для нашихъ глазъ.

лювитель.

(отворачивается.)

Теперь я вижу, въ чемъ секретъ: Въ немъ генія ни мало нътъ.

ученикъ.

(опять садится)

Совствить не то! хочу опять Картину всю перемарать.

ДРУГОЙ МАСТЕРЪ

(подходить къ нему, смотрить на работу и отворачивается, не сказавъ ни слова.)

ученикъ.

Нътъ! вы не съ тъмъ пришли, чтобъ молча заглянуть. Я васъ прошу: скажите что нибудь. Вы можете одни понять мои мученья. Хотя мой трудъ не стоить словъ, Но труделюбіе достойне снисхожденья; Я върить вамъ ве всемъ готовъ.

MACTEPЪ.

Я, признаюсь, глажу на всё твои страданья
И съ чувствомъ радости и съ чувствомъ состраданья.
Я вижу: ты, любезный мой,
Природой созданъ для искусства;
Тебё открыты тайны чувства;
Ты ловишь взоромъ и душой
Въ прекрасномъ мірё внечатлёнья;
Ты бы хотёлъ обнять въ немъ красоту
И кистью приковать къ холсту
Ето минутныя явленья;
Ты прилежаніемъ талантъ возвысилъ свой
И быстро ловкою рукой
За мыслью слёдовать ум'вешь:
Во многомъ ты усп'ель и бол'яе усп'ешь —
Но....

ученикъ.

Не скрывайте ничего.

мастеръ.

Ты упражняль и глазь и руку, Но ты не упражняль разсудка своего. Чтобъ быть художникомъ, обдумывай науку! Безъ мыслей геній не творить, И самый рёдкій умъ съ однимъ природнымъ чувствомъ Къ высокому едва ли воспаритъ. Искусство навсегда останется искусствомъ: Здёсь ощупью нельзя идли впередъ, И только знаніе къ успёху приведетъ.

ученикъ.

Я знаю, къ красотамъ природы и картинъ Не трудно пріучить и глазъ и руку; Не то съ наукою; ученый лишь одинъ Намъ можетъ передать науку. Кто можетъ знаніемъ полезенъ быть другихъ Не долженъ бы одинъ имъ наслаждаться. За чѣмъ же вамъ отъ всѣхъ скрываться И съ многими не подѣлиться имъ?

МАСТЕРЪ.

Нътъ! въ наши времена всъ любятъ путь широкій, Не трудную стезю, не строгіе уроки. Я завсегда одно и тожь пою, Но всякой-ли полюбить пъснь мою?

учкникъ.

Скажите только мив, ощибся-ли я въ томъ, Что передъ прочими я выбралъ образцомъ Сего художника?

(Указывая на картину, которую списываеть)
Что весь живу я въ немъ?

Что я люблю его, люблю, какъ-бы живаго, Надъ нимъ всегда тружусь и не хочу другаго.

MACTEPS.

Его чудесный даръ и молодость твоя — Воть что твой выборь извиняеть. Всегда охотно вижу я, Какъ смёлый юноша свободно разсуждаеть Безъ мёры хвалить, порицаеть. Твой идеаль, твой образець — Великій умъ, разнообразный геній: Учися красотамъ его произведеній: Трудись надъ ними — наконець Познай ошибки, и умёй Любить въ твореніяхъ искусство, не людей.

ученикъ.

Его картинами давно ужь я плънился.
Повърьте, не проходить дня,
Чтобъ я надъ ними не трудился.
И съ каждымъ днемъ онъ все новы для меня.

MACTEP'S.

Ты разсмотри съ разсудкомъ, безпристрастно, И чъмъ онъ былъ, и чъмъ хотълъ онъ быть; Люби его, но самъ учись его судить. Тогда твой трудъ не будетъ трудъ напрасной: Обнявъ науку красоты, Не все предъ нимъ забудешь ты. Для добродътели тълесной груди мало; Ужиться ей нельзя въ душъ одной:

Съ искусствомъ точно тожь, и никогда, другъ мой, Одна душа его не поглощала.

ученикъ.

Такъ я быль слепь до этихъ поръ?

MACTEP'S.

Теперь оставимъ разговоръ.

смотритель галлереи.

(Подходить кь нимь)

Какой счастливый день для насъ!
Картину къ намъ внесутъ тотчасъ—
Давно на свътъ я живу,
Но ни во снъ, ни на яву
Другой подобной не видалъ.

MACTEP'S.

А чья?

ученикъ.

Ero ze?

(Указываеть на картину, сь которой списываль).

смотритель.

Угадалъ.

ученикъ.

Я угадаль! мив это Шепнула тайная любовь. Какой восторгь волнуеть кровь! Какимъ огнемъ душа согръта! Куда бъжать мив къ ней! куда?

CMOTPHTEAL.

Ее сейчась внесуть сюда. Нельзя взглянуть, не нодивясь; За то не дешево купиль ее нашь Князь.

ПРОДАВЕЦЪ (входить).

Ну, Господа! теперь я сивю
Поздравить вану галлерею.
Теперь узнаеть цёлый свёть,
Какъ Князь искусства ободряеть:
Онъ вамъ картину покупаеть,
Какой нигдё, ручаюсь, нёть.
Ее несуть ужь въ галерею.
Мнё право жаль разстаться съ нею.
Я не обманываю вась —
Цёна конечно дорогая,
Но рёдкость, господа, такая
Дороже стоить во сто разъ.
(Туть вносять изображение Венеры Урании и становять на станокь).

Теперь взгляните: воть она! Безъ рамки, вся запылена. Я продаю, какъ получиль, И даже лакомъ не покрыль.

(Всп собираются передъ картиной).

первый мастеръ.

Какое мастерство во всемъ!

вторый мастеръ. Воть зрълый умъ! вакой объемъ!

ученикъ.

Какою силою чудесной. Бунтуетъ страсть въ груди моей!

лювитель.

Какъ натурально! какъ небесно!

продавецъ.

Я словомъ всёмъ пленился въ пей, И самой мыслью и работой.

смотритель.

Вотъ къ ней и рама съ позолотой!

— Скоръй — Князь скоро будетъ самъ —
Вбивайте гвозди по угламъ.

(Картину вставляють въ рамку и въшають).

князь.

(Входить въ залу и разсматриваеть картину). Картина точно превосходна, И не торгуюсь я въ цънъ.

КАЗНАЧЕЙ.

(Кладеть кошелекь сь червонцами на столь и вздыхаеть)

продавецъ.

Нельзя ли взвъсить?

КАЗНАЧЕЙ.

(Считая деньги).

Какъ угодно.

Но лишній трудъ, повітрыте мив.

(Князь стоить передь картиною. Прочіе вы никоторомы отдаленіи. Потолокы открывается. Муза, держа художника за руку, является на облакы)

художникъ.

Куда летимъ? въ какой далекій край?

MYSA.

Взгляни, мой другъ, и самъ себя узнай! Упейся счастьемъ въ полной мъръ.

художникъ.

Мив душно здёсь, въ тяжелой атмосферв.

MY3A.

Твое созданье предъ тобой! Оно всв прочія затмило красотой И здесь, какъ Сиріусь межь ясными звездами. Блестить безсмертными лучами. Взгляни, мой другъ! Сей плодъ свободы и трудовъ -Онъ твой! онъ плодъ твоихъ счастливъйшихъ часовъ. Твоя душа въ себъ его носила Въ минуты тихихъ, чистыхъ думъ; Его зачаль твой зрвлый умь, А трудолюбіе спокойно довершило, Взгляни, ученый передъ нимъ Стоитъ и скромно наблюдаетъ. Завсь покровитель Музъ твой даръ благословляеть, Онъ восхищенъ твореніемъ твоимъ. А этотъ юноша! взгляни, какъ онъ пылаетъ! Какая страсть въ душв его младой!

Прочти въ очахъ его желанье,
Вполнъ испить твое вліянье
И жажду утолить тобой!
Такъ человъкъ съ возвышенной душой
Преходить въ поздніе въка и покольнья.
Ему нельзя свое предназначенье
Въ предвлахъ жизни совершить:
Онъ доживаеть за могилой
И мертвый дышеть прежней силой.
Свершивъ конечный свой удълъ,
Онъ въ жизни словъ своихъ и дълъ
Путь начинаетъ безконечной!
Такъ будешь жить и ты въ безсмертьи, въ славъ въчной!

художникъ.

Я чувствую все, что мий даль Зевесь:
И радость жизни быстротечной,
И радость вйчную обители небесь.
Но онъ простить мий ропоть мой печальной.
Спроси любовника: счастливъ-ли онъ,
Когда онъ съ милою подругой разлученъ,
Когда она въ странй тоскуеть дальной?
Скажи, что онъ лишился не всего,
Что тоть же свёть ихъ озаряеть,
Что то же солице сограваеть —
И эта мысль утвшить-ли его?
Пусть славять всй мои творенья!
Но въ жизни славу зналь-ли я?
Скажи, небесная моя,
Что мий теперь за утвшенье,

Что златомъ платять за меня? О, еслибъ иногда имълъ я самъ Такъ много золота, какъ тамъ, Вокругъ картинъ моихъ, блеститъ для украшенья! Когда я въ бъдности съ семействомъ хлъбъ дълилъ, Я счастливъ, я доволенъ былъ И не имълъ другаго наслажденья. Увы! судьба мив не дала Ни друга, чтобъ дълить съ нимъ чувства, Ни покровителя искусства. До дна я вышиль чашу зла. Лишь изръдка хвалы невъжды Гремъли мнъ въ глуши монастырей. Такъ я трудился безъ судей И міръ покинуль безъ надежды. (Указывая на ученика).

О, если ты для юноши сего
Во мзду заслугъ готовишь славу рая,
Молю тебя, подруга не земная,
Здъсь на землъ не забывай его.
Пока уста дрожать еще лобзаньемъ,
Пока душа волнуется желаньемъ,
Да вкусить онъ вполнъ твою любовь!
Вънокъ ему на небъ уготовь,
Но здъсь подай сосудъ очарованья,
Безъ яда слезъ, безъ примъси страданья!

. . • • 1 è

ОТРЫВКИ ИЗЪ ФАУСТА.

I.

ФАУСТЪ И ВАГНЕРЪ

(За городомъ.)

ФАУСТЪ.

Влаженъ, кто не отвергъ надежди Раздрять покровъ душевной тымы! Но нътъ! печальными ръчами Не отравляй даровъ небесъ. Смотри, какъ кровли межь древесъ Горятъ вечерними лучами.... Свътило къ западу течетъ, И новый день мы схоронили — Къ другимъ странамъ оно придетъ И тамъ жизнь новую прольетъ. Что нътъ у насъ могучихъ крылій? За нимъ, за нимъ помчался-бъ я;

Зарею-бъ въчною блистали Передо мной земли края, Холмы въ пожаръ бы пылали,

Дремали долы въ мирномъ снъ, И волны золотомъ играли, Переливаяся въ огив. Тогда, утесы и вершины! Вы мит бы не были предълъ: Вогоподобный, я-бъ лётелъ Черезъ эфирныя равиины, • И скоро-бъ зрваъ смущенный взаядъ, Какъ моря жаркія пучины Въ заливахъ зерваломъ лежатъ.... Но солнце въ западу скатилось, — И вновь желанье пробудилось, И я стремлю ему во следъ, Межь нощію и днемъ, межь небомъ и морями, Неутомимый свой полеть И упиваюся безсмертными лучами.

Мой другъ! прекрасны эти сны,
А солнце сврылось за горою:
Увы! летаемъ мы мечтою,
Но крылья тёлу не даны.
И у кого душа въ груди не бъется
И, жадная, не рвется отъ земли,
Когда надъ нимъ, невидимый, вдали
Веселый жаворонокъ въется
И тонетъ въ эмбяхъ голубыхъ,
По вётру нёсни разсыпая!
Когда паритъ орелъ надъ высью скалъ крутыхъ,
Широкія вётрила разстилая,
И черезъ стень, чрезъ бездны водъ

Станица журавлей на родину плыветь Къ веснъ полуденнаго края!

ВАГНЕРЪ.

Признаться, и во мий подъ часъ Затййливо шалить воображенье:
Но непонятно мий твое стремленье.
На поле, на лиса насмотришься какъ разъ;
Мий не завидны крылья птицы,
И то-ль веселье для души —
Перелетать листы, страницы
Зимой, въ полуночной тиши!
Тогда и ночь какъ будто-бы свйтлие,
По жиламъ жизнь бижить теплие —
Не даромъ иногда пороешься въ пыли,
И, право, отрывать случалось
Такой столбецъ, что самъ ты на земли,
А будто небо открывалось.

ФАУСТЪ.

Мой другь, изъ сильныхъ двухъ страстей Одна лишь властвуетъ тобою:
О, не знакомься ты съ другою!
Но двъ души живутъ въ груди моей,

Одна, обнявши прахъ земной, Сковалась съ нимъ любовію земною;

Всегда враждуя нежь собою.

Другая, прочь отъ персти хладной, Летить въ эсиръ къ обители родной.— Когда межь небомъ и землею Витаешь ты, веселый рой духовъ, Изъ нъдра тучь, изъ радужныхъ паровъ, Спустись ко мнъ! за жизнью молодою

Неси меня къ другой странъ!
О, дайте плащъ волшебный мнъ!
Когда-бъ меня къ другому міру
Онъ дивной силою помчалъ:
Я бы его не промънялъ

На блескъ вънца, на царскую порфиру.

ВАГНЕРЪ.

Не призывай извъданныхъ враговъ: Ихъ сонмъ въ изгибахъ облаковъ

Вездъ разлился по вселенной

И смертному въ враждъ неутомленной Бъду несетъ со всъхъ сторонъ.

Подуетъ съ Съвера — и острыми зубами Какъ иглами тебя произаетъ онъ:

Съ Востока налетитъ — и подъ его крылами Изсохнетъ жизнь въ груди твоей.

То съ Юга, съ пламенныхъ степей, Онъ зной и огнь скопляетъ надъ тобою То съ Запада мгновенно освъжитъ

И вдругъ губительной волною

■ Поля, луга опустошить.
 Онъ внемлеть намъ, но обольститель жадной Покорствуя, онъ манить насъ къ бъдамъ, .

И словно ангелъ, тавъ отрадно Онъ ложь нашентываетъ намъ.

II.

пъснь маргариты.

Прости, мой покой! Какъ камень, въ груди Печаль залегла. Покой мой, прости!

Гдѣ нѣтъ его, Тамъ все мертво! Мнѣ день не милъ И міръ постылъ.

О бъдная дъвица! Что сбылось съ тобой? О бъдная дъвица! Гдъ разсудокъ твой?

Прости, мой повой!
Какъ камень, въ груди
Печаль залегла.
Покой мой, прости!

Въ окно-ли гляжу я— Его я ищу. Изъ дома-ль иду я— За нимъ я иду. Высокъ онъ и ловокъ; Величественъ взглядъ; Какая улыбка! Какъ очи горятъ!

И рѣчь, какъ звонъ Волшебныхъ струй! И жаръ руки! И что за поцѣлуй!

Прости, мой покой! Какъ камень, въ груди Печаль залегла. Покой мой, прости!

Все тяпетъ меня, Все тяпетъ къ нему. И душно и грустно. Ахъ, что не могу —

Обнять его, держать его, Лобзать его, лобзать И, умирая, съ устъ его Еще лобзанья рвать!

III.

монологъ фауста. (Ночь. Иещера.)

Всевышній духъ! ты все, ты все мит далъ. О чемъ тебя я умолялъ;

Не даромъ зрълся мнъ Твой ликъ, сіяющій въ огнъ.

Ты даль природу мив, какъ царство, во владенье; Ты даль душе моей

Даръ чувствовать ее, далъ силу наслажденья.

Иной едва скользить по ней

Холодиымъ взглядомъ удивленья;

Но я могу въ ея таинственную грудь, Какъ въ сердце друга, заглянуть. Ты протянуть передо мною Созданій цёпь — я узнаю

Въ водахъ, въ лъсахъ, подъ твердью голубою Одну благую мать, одну ел семью.

Когда завоеть лѣсь въ дубравѣ темной И лѣсь качается, и рухнеть дубъ огромной, И ели ближнія ломаются, трещать,

И стукъ, и грохотъ заунывный Въ долинъ будятъ гулъ отзывный: Ты путь въ пещеру кажешь мнъ, И тамъ, среди уединенья,

Я вижу новый міръ, и новыя явленья,

И созерцаю въ тишинѣ Души чудесныя, но тайныя видѣнья. Когда же вѣтры замолчатъ

И тихо на поляхъ эсира
Всилыветъ луна, какъ свътлый въстникъ мира,
Тогда подъемлется передо мной
Въковъ туманная завъса,

И съ грозныхъ скадъ, изъ дремлящаго лѣса Встаютъ блестящею толной Минувшаго серебряныя тени
И светять въ сумраке суровых размышленій.
Но ахъ! теперь я испываль,

Что нътъ для смертныхъ совершенства, Напрасно я, въ мечтахъ душевнаго блаженства, Себя съ безсмертными равнялъ!

Ты къ страшному врагу меня здъсь приковалъ, Какъ тънъ мол, сопутнякъ неотлучный,

Холодной злобою, настриною докучной, Онъ отравиль дары небеся.

Дыханье словъ его сильнъй твоихъ чудесъ!

Онъ въ прахъ меня низринулъ предо мною, Разрушилъ въ мигъ міръ созданный тобою,

Въ груди моей зажегъ онъ пламень роковой,

Вдохнулъ любовь къ несчастному созданью, И я стремлюсь несытою душой

Въ желаньи въ счастію и въ счастіи къ желанью.



проза.



БЕСБДА ПЛАТОНА СЪ АНАКСАГОРОМЪ *.

АНАКСАГОРЪ.

Давно, Платонъ, давно уроки божественнаго Сократа не повторялись въ нашихъ бесъдахъ, и я по сихъ поръ напрасло искалъ случая предложить тебъ нъсколько вопросовъ о любимыхъ нашихъ наукахъ.

платонъ.

Готовъ удовлетворить твоимъ вопросамъ, любезный Анаксагоръ, если силы мои мнъ это позволятъ.

АНАКСАГОРЪ.

Ты всегда рѣшалъ мои сомнѣнія, Платонъ, и я не помню, чтобы ты когда нибудь оставилъ хоть одинъ изъ нашихъ вопросовъ безъ удовлетворительнаго отвѣта.

платонъ.

Если и такъ, Анаксагоръ, то не я производилъ такія чудеса, но наука, божественная наука, которая внушала ръчи Сократа и которой я ръшился посвятить всю жизнь свою.

^{*} Отрывки эти: «Бесѣда Платона съ Анаксагоромъ»; «Скульптура, жипопись и музыка»; Утро, полдень, вечеръ и ночь», а также «Нѣсколько мыслей въ планъ журнала» были прочтены Веневитиновымъ на литератугныхъ вечерахъ. (См. Біогр. Оч., стр. 15.)

АНАКСАГОРЪ.

Недавно читадъ я въ одномъ изъ нашихъ поэтовъ опсаніе золотаго въка и, признаюсь тебъ, Платонъ, въ мой слабости: эта картина восхитила меня. Но когда я на нъсколько времени перенесся въ этотъ міръ совершеннаго блеженства и потомъ снова обратился къ нашимъ временамъ, тогда очарованіе прекратилось, и у меня невольно вырвался горестный вздохъ: для чего дано человъку понятіе о такомъ счастіи, котораго онъ достигнуть не можетъ? для чего имъеть онъ несчастную способность мучить себя игрою воображеня, прекрасными вымыслами?

платонъ.

Какъ ? неужели ты представляещь себъ золотой въкъ вымысломъ поэта, игрою воображенія? — неужели ты помагаещь, что поэтъ можетъ что-либо вымышлять?

АНАКСАГОРЪ.

Безъ сомнънія; и я думаль въ этомъ случать быть съ тобою согласнымъ.

платонъ.

Ты опибаешься, Анаксагоръ. — Поэтъ выражаетъ свои чувства, а всъ чувства не въ воображени его, но въ самой его природъ.

АНАКСАГОРЪ.

Если такъ, то для чего-же изгоняещь ты поэтовъ изъ твоей реснублики?

платонъ.

Я не изгоняю истинныхъ поэтовъ, но увънчавъ ихъ цвътами, прошу оставить наши предълы.

АНАЕСАГОРЪ.

Конечно, Платонъ; кто изъ поэтовъ не согласился бы позтить твою республику, чтобъ подвергнуться такому изгнатов но не менъе того это пе доказываетъ ли, что ты почиетнь поэзію вредною для общества и слъдственно для челоька?

платонъ.

Не вредною, но безполезною. Моя республика должна быть ставлена изъ людей мыслящихъ, и потому дъйствующихъ. тъ такому обществу можетъ-ли принадлежать поэтъ, который аслаждается въ собственномъ своемъ мірѣ, котораго мысль нѣ себя ничего не ищетъ и слъдственно уклоняется отъ цъли сеобщаго усовершенствованія? — Повърь мнъ, Анаксагоръ: илософія есть высшая поэзія.

АНАКСАГОРЪ.

Я охотно фоглашусь съ твоею мыслію, Платонъ, когда ты окажешь мнъ, какъ философія можеть объяснить, что такое олотой въкъ.

платонъ.

Помнишь ли ты, Анаксагоръ, слова Сократа о человъкъ ? сакъ называлъ онъ человъка ?

АНАКСАГОРЪ.

Малымъ міромъ.

Ľ

платонъ.

Такъ точно, и эти слова должны объяснить твой вопросъ. — Что понимаеть ты подъ выражениеть: малый міръ ?

АНАКСАГОРЪ.

Върное изображение вселенной.

платонъ.

Вообще эмблему всякаго цълаго и слъдственно всего человъчества. — Теперь разсмотримъ человъка въ отдъльности и примънимъ мысль о человъкъ ко всему человъчеству. Случалось-ли тебъ знать старца, свершившаго въ добродътели путь, предназначенный ему природою, и приближающагося къ концу съ богатыми плодами мудрой жизни?

АНАЕСАГОРЪ.

Кто изъ насъ, Платонъ, забудетъ добродътельнаго Форбіаса, который, посвятивъ почти цълый въкъ любомудрію, на старости лътъ, казалось возвратился къ счастливому возрасту младенчества?

платонъ.

Ты самъ, Анаксагоръ, развиваещь мысль мою. Такъ! всякій человъкъ рожденъ счастливымъ, но чтобы познать свое счастіе, душа его осуждена къ боренію съ противоръчіями міра. — Взгляни на младенца — душа его въ совершенномъ согласіи съ природою; но онъ не улыбается природъ, ибо ему не достаеть еще одного чувства — совершеннаго самопознанія. Это музыка, но музыка еще скрытая въ чувствъ, не проявившаяся въ разнообразіи звуковъ. — Взгляни на юношу и на человъка возмужалаго. Что значить желаніе опытности? гдъ причина всъхъ его покушеній, всъхъ его дъйствій, какъ не въ идеъ счастія, какъ не въ надеждъ достигнуть той степени, на которой человъкъ познаеть самого себя? — Взгляни наконецъ на старца: онъ, кажется, вдохновеннымъ взоромъ окъ

ываетъ минувшее поприще, и видитъ, что всѣ бури міра для его утихли, что путь трудовъ привелъ его къ желанной цѣ-и — къ независимости и самодовольству. Вотъ жизнь чело-вка! она снова возвращается къ своему началу. — Разсмот-имъ теперь ходъ человъчества, и тогда загадка совершенно тя насъ разръшится. Въ какомъ видъ представляется тебъ лотой въкъ?

АНАКСАГОРЪ.

Древніе наши поэты посвятили все свое искусство описаю какого-то утраченнаго блаженства, и слова мои не могутъ празить моего чувства.

платонъ,

Не требую отъ тебя картины; но скажи мнѣ, какъ предзавляещь ты себѣ первобытнаго человѣка въ отношеніи къ мой природѣ.

. АНАКСАГОРЪ.

Онъ былъ, какъ увъряютъ, царемъ природы.

платонъ.

Царемъ природы можеть назваться только тоть, кто поорилъ природу; и слъдственно, чтобы познать свою силу,
эловъкъ принужденъ испытать ее въ противоръчіяхъ—оттуда
всколъ между мыслію и чувствомъ. Объясню тебъ эти слова
римъромъ. — Представимъ себъ Фидіаса, пораженнаго идеею
поллона. Въ душъ его совершенное спокойствіе, совершенва тишина. Но доволенъ ли онъ этимъ чувствомъ! Еслибъ
вслажденіе его было полно, для чего ом онъ взялъ ръзецъ?
слибъ идеалъ его былъ ясенъ, для чего старался бы онъ
го выразить? Нътъ, Анаксагоръ! эта тишина — предвъстница
ури. Но когда вдохновенный художникъ, побъдивъ всъ труд-

ности своего искусства, передалъ мысль свою безчувственном мрамору, тогда только истинное спокойствие водворяется въ душт его — онъ позналъ свою силу и наслаждается въ міръ, ему уже знакомомъ.

АНАКСАГОРЪ.

Конечно, Платонъ, это можно сказать о художникъ, потому что онъ творитъ и для того своевольно борется съ трудностями искусства.

платонъ.

Не только о художникъ, но и о всякомъ человъкъ, о всемъ человъчествъ. — Жить ничто иное какъ творить — будущее намъ идеалъ. Но будущее есть произведение настоящаго, то есть нашей собственной мысли.

АНАКСАГОРЪ.

И такъ, если я понялъ твою мысль, то золотой въкъ дъйствительно существовалъ и снова ожидаетъ смертныхъ.

платонъ.

Върь миъ, Анаксагоръ, върь: она снова будетъ, эта эпоха счастія, о которой мечтаютъ смертные. — Нравственная свобода будетъ общимъ удъломъ — всъ познанія человъка сольются въ одну идею о человъкъ — всъ отрасли наукъ сольются въ одну науку самопознанія. Что до времени? Насъ давно не станетъ, — но меня утъщаетъ эта мысль. Умъ мой гордится тъмъ, что ее предузнавалъ, и, можетъ быть, ускорилъ будущее. — Тогда пусть сбудется древнее египетское пророчество! пусть солнце поглотитъ нашу планету, пусть враждебныя стихіи расхитятъ разнородныя части, ее составляющія!.... Она исчезнетъ, но, совершивъ свое предназначеніе, исчезнетъ какъ ясный звукъ въ гармоніи вселенной.

СКУЛЬПТУРА, ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА.

Откуда слетвли вы къ намъ, божественныя дввы в не небо ли было вашей колыбелью и для чего промъняли вы жилище красоты и наслажденія на долину желаній и усилій ваши пламенные взоры горять огнемъ неземнымъ. Вы расточаете ласки свои смертнымъ; но черты вашего лица, какъ бы предназначеннаго въчной юности, сохранили всю прелесть красоты дъвственной. Кто вы, небесныя, откройтесь. Вы мнъ уже знакомы; не ваши-ли волшебные образы летали предо мною въ тъ счастливые часы, въ которые я мечталъ о лучшемъ міръ васъ-ли вездъ ищеть мое воображеніе?

Мы сестры, отвъчала первая богиня, и всъ трое царствуемъ во вселенной; но не намъ принадлежитъ вънецъ безсмертной славы, онъ будетъ въчно сіять на главъ нашей матери. О смертный! ты часто восхищался этимъ міромъ, съ восторгомъ взиралъ на все тебя окружающее; мы все видимое тобою украсили. Я старшая изъ сестеръ и меня первую послала мать для того, чтобъ оживить вселенную въ очахъ твоихъ; я указала тебъ этотъ круглый шаръ, который плыветъ въ воздухъ; я вознесла взоры твои на сіе небе, которое, какъ сводъ, его обнимаетъ; я разсъяла эти горы съ утесами, которыя, какъ великаны, возвышаются надъ долинами; мой искусный ръзецъ образовалъ каждое дерево, каждый листъ, каждую жемчужину, сокровенную на глубинъ раковины.

Прелестно, воскликнула вторая богиня, прелестно было произведеніе сестры моей, когда я слетъла съ неба; но взоръ напрасно искалъ разнообразія на землъ безцвътной. Все было

хладно, безжизненно, какъ тѣ образы, которые представляють сѣрые тучи въ день пасмурный. Я взмахнула поясомъ и радуги со всѣхъ сторонъ посыпались на землю, ясное свѣтило загорѣлось въ воздухѣ, по небу разлилась чистая лазурь и море отразило небо; — долины и лѣса одѣлись зеленымъ цвѣтомъ, и я, довольная новымъ міромъ, возвратилась къ престолу нашей матери.

Тогда и я слетъла на землю, сказала третья богина; прелестны были произведенія сестеръ моихъ, но я напрасне искала въ нихъ жизни; ничто не улыбалось мнъ въ природъ. Мертвая тишина царствовала на землъ и стъсняла мои чувства; я вздохнула, и вздохъ мой повторился во вселенной; чувство жизни разлилось повсюду: все огласилось звуками радости и всъ эти звуки слились въ общую, волшебную гармонію.

Съ тъхъ поръ, продолжала первая богиня, съ тъхъ поръ воздвигнулись три алтаря на землъ; я первая встрътила смертнаго и мнъ первой принесъ онъ дары свои. Онъ былъ еще странникомъ на новой землъ; все поражало его удивленіемъ; все питало въ немъ то чувство гордости, которое невольно пробуждаетъ первая встръча съ незнакомымъ. Гдъ найду я, говорилъ онъ, удовлетвореніе безконечнымъ моимъ желаніямъ, гдъ найду предметъ достойный моихъ усилій? Я услышала сътованія смертнаго, и, первая, внушала ему смълую мысль похитить у безсмертныхъ огонь, дающій жизнь. Я вручила ему ръзецъ, и вскоръ мраморъ оживился подъ его руками, и человъкъ окружилъ себя собственнымъ міромъ. Они еще живы, священные памятники его усилій — его славы. Ихъ не коснулась всеистребляющая коса времени. О смертный! стремись туда, гдъ,

на развалинахъ столицы міра, геній минувшаго основаль свое владычество, и вызывая изъ праха протекшіл стольтія, кажется, посмъвается надъ настоящимъ. Вступи въ сей храмъ безсмертный, гдъ герои древности, блъдные какъ произведенія сна, въ красноръчивомъ безмолвіи, возвышаются около стънъ; вступи въ сей храмъ, когда утренній лучъ солнца озарятъ сіе величественное сонмище и будетъ скользить на бъломъ мраморъ; тогда ты познаешь мое владычество и присутствіе тайнаго божества поразитъ тебя благоговъніемъ.

И мнѣ повиновался смертный, воскливнула вторая богиня, и я была его сопутницей. Когда любовь пролила въ сердцѣ его свою очаровательную влагу, напрасно силился онъ рѣзцемъ сестры моей изобразить предметъ своихъ желаній. Взбръ его напрасно искалъ въ очахъ изображенія того же неба, которое таилось подъ рѣсницами прекрасной его подруги; напрасно хотѣлъ онъ окружить образъ возлюбленной очарованіемъ безконечнаго, къ которому стремилась душа его, и въ которомъ являлся ему идеалъ прекрасной. И чтожь? я дала ему кисть, и чувства его вполнѣ вылились на мертвый холстъ, и мысль о безконечномъ сдѣлалась для него понятною. О смертный! хочешь ли видѣтъ небо на землѣ? Взгляни на сію картину, — взгляни когда яркій лучъ полдня прольетъ на нее свѣтъ свой, — ты невольно падешь на колѣна и тогда познаешь мое владычество.

Настало и мое царствованіе, промолвила послідняя боганя. Случалось ли тебів, въ безмолвій ночи, слышать волшебные звуки, которые тайною силой увлекають душу, тівшать ее надеждою и заставляють забывать все окружающее? Это торжество мое. Ты переносинься тогда въ новый міръ, ты думаешь быть далеко оть земли и ты въ самомъ себів. Въ тебя вложила я таинственную арфу, которой струны дрожатъ при каждомъ впечатлъніи, и служатъ какъ бы дополненіемъ всего, что ты чувствуешь въ природъ. Не пламенная радость, не улыбка гордости выражаютъ мое владычество; нътъ! слезы тихаго восторга напоминаютъ смертному, что мнъ покорено его сердце.

Мой слухъ прикованъ къ устамъ вашимъ, безсмертныя богини; но гдъ та, которой вы уготовляете вънецъ славы— гдъ храмъ, въ которомъ возвышается престолъ ея, изъ котораго она предписываетъ законы свои вселенной?

О смертный! весь міръ престоль нашей матери. Ее изображаль и мраморь, и холсть на земль; ее прославляли лиры пъснонъвцевь; но она останется недосягаемою для чувствъ смертнаго; наша мать — Поэзія; въчность — ея слава; вселенная — ея изображеніе.

УТРО, НОЛДЕНЬ, ВЕЧЕРЪ И НОЧЬ.

Кто изъ насъ, друзья мои, не погружался въ море минувшихъ стольтій? Кто изъ насъ не ускоряль полета времени и не мечталь о будущемъ? Эти два чувства, върные сопутники человъка въ жизни, составляють источникъ и вивств предметь всъхъ его мыслей. Что намъ настоящее? Оно ежеминутно предъ нами изчезаеть, разрушая всъ надежды, на немъ основанныя. Между тъмъ мысль о разрушени, объ уничтожени, такъ противуръчить всъмъ нашимъ чувствамъ, такъ убійственна для врожденной въ насъ любви къ существованию, къ устройству, что мы хоть памятью стараемся оживлять былое, вызываемъ изъ гроба тъхъ героевъ человъчества, въ

конхъ болье отразилось чувство жизни и силы, и съ горестію собирая прахъ ихъ, разсъянный крылами времени, образуемъ новый міръ, и объщаемъ ему — безсмертіе Съ этимъ міромъ . безсмертія, съ этимъ лучшимъ изъ нашихъ упованій, сливаемъ мы всв понятія о будущемь. Этой мысли посвящаемь всю жизнь, въ ней видимъ свою цель и награду. Что можетъ быть утвшительные для поэта, который къ ней направляеть безпредъльный полеть свой? Что назидательные для мыслителя, который въ ней открываетъ желаніе безконечнаго, всеобщей гармоніи. Не изгоняйте, друзья мои, изъ области разсудка фантазіи, этой волшебницы, которой мы обязаны прелестивишими минутами въ жизни, и которая, облекая высокое въ свою радужную одежду, не искажаетъ свътлаго луча: истины, но дробить его на всевозможные цвъты. Не тоже ли самое дълаетъ природа? Но ежели въ ней всъ явленія, всъ причины и дъйствія сливаются въ одно цёлое, въ одинъ законъ неизмънный, - не для того ли созданы всъ чувства человъка, чтобъ на богатомъ древъ жизни породить мысль, сей божественный плодъ, пріуготовляемый цв тами фантазіи?

Пріятно съ върнымъ понятіемъ о природъ обратиться къ самой же природъ, въ ней самой искать выраженія для того, что она же намъ внушила. — Все для него поясняется; всякое явленіе — эмблема; всякая эмблема — самое цълое.... Такъ думалъ я, пробъгая однажды тъ священные памятники, которые въкъ передаетъ другому, и которые, свидътельствуя о жизни и усиліяхъ человъчества, возрастаютъ съ каждымъ столътіемъ, и всегда завъщанные потомству, всегда представляють новое развитіе. — Такъ думалъ я, пробъгая эту пъпь превратностей и разнообразія, въ которой каждое звено необходимо, которой направленіе неизмънно. — И чтожь пред-

ставилось разгоряченной фантазіи? — Простите ли вы, друзья мои, сонъ воображенія, быть можеть, слишкомъ любопытнаго, и потому, быть можеть, обманутаго?

Врата востока открываются передъ нами — все въ природъ съ улыбкою встръчаетъ первое утро; лучъ денницы отражается свътомъ, и озаряетъ одно — безпредъльное — вселенную. Какъ плънителенъ въ эту минуту юный жительюной земли; первое его чувство — созерцаніе, чувство младенческое, всемъ довольное, ничего не исключающее. Послушаемъ первую пъснь его, пъснь восторга безотчетнаго; она также. проста, также очаровательна, какъ первый лучъ свъта, какъ первое чувство любви. — Но онъ простираетъ руку къ свътилу, его поразившему, и оно для него не достигаемо: Онъ подымаеть взоръ къ нему, душа его горить желаніемъ погрузиться въ это ясное море; но оно безпредъльнымъ сводомъ простирается высоко, высоко надъ его главою. Очарованіе прекратилось; онъ изгнанъ изъ этого рая, — два Сера-• фина, память и желаніе, съ пламенными мечами, воздвигаются у завътныхъ вратъ, и тайный голосъ цроизноситъ неизбъжный приговоръ: "самъ создай міръ свой". И все оживилось въ фантазіи раздраженнаго человіка. — Чувства гордости и желаніе действовать, въ одно время, пробудились въ душ'в его. Онъ отдъляется отъ природы и вездъ ищетъ самаго себя. Всякій предметь ділается выраженіемь его особенной мысли. Горы, лъса, воды, все населяется произведейсями его воображенія, и обманутое усиліе выразиться совершенновездъ открываетъ строгій законъ необходимости, слепо управляющій піромъ.

Настаетъ полдень. — Чувствуя въ себъ силу, чувствуя волю, человъкъ повидаетъ колыбель свою; обманутый надеждой
поработить себъ природу, онъ хочетъ властвовать на земль и обоготворить силу. Стихіи для него не страшны, Океанъ
не граница: онъ любитъ испытывать себя и ищетъ противоборнива въ природъ. Каждой страсти воздвигнутъ алтарь, но
и въ бурю страстей человъкъ не забываетъ своего высокаго
предназначенія. Небо утромъ безмятежное покрылось въ полдень тучами, но природа не узнала тьмы; ибо молнія въ затъну солнца, хотя минутнымъ блескомъ, разсъвала густой
правъ.

Все утихаетъ подъ вечеръ дня: страсти гаснутъ въ сердив, какъ слъды солнца на небосклонъ. Одинъ лучъ яркимъ свътомъ брежжетъ на западъ; одно чувство, но сильнъйшее, воспламеняетъ человъка. Вечеромъ соловей воспъваетъ любовъ въ тъни дубравъ и пъснь любви повторяется во всей природъ. Любви жертвуетъ сила своими подвигами. Небо говоритъ человъку голосомъ любви; а на землъ цвътокъ изъ рукъ прекрасной подруги — вънецъ для героя.

Недолго взоры смертнаго перебъгали всъ предметы... Наконецъ, усталыя въжды сокрыли отъ него всъ явленія; тишина ночи склонила его ко сну — къ воззрънію на самаго себя. Только теперь душа его свободна. Предметы, пробудивше ее къ существованію, не останавливають ея болье: они быстро исчезають передъ нею и она созидаеть свой собственный міръ, независимый отъ того міра, гдъ все ей казалось разнорьчіемъ. Только теперь познаеть человъкъ истинную гармонію. — Уста его открываются и онъ шепчеть такіе звуки, которые привели бы въ трепеть младенца, но которые мыслящій старецъ записаль бы въ книгу премудрости. — О, съ какимъ восторгомъ пробудится онъ, когда новый лучъ денницы воззоветь его къ новой жизни, — когда довольный тъмъ, что онъ нашелъ въ самомъ себъ, онъ перенесеть чувство изъ міра желаній въ міръ наслажденія!

НЪСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ

ВЪ ПЛАНЪ ЖУРНАЛА.

Всякому человъку, одаренному энтузіазмомъ, знакомому съ наслажденіями высокими, представлялся естественный вопросъ: для чего поселена въ немъ страсть къ познанію жекъ чему влечеть его непреоборимое желаніе действовать ? — Къ самопознанію, отвівчаеть намів книга природы. Самопознаніе воть идея, одна только могущая одушевить вселенную: воть цъль и вънецъ человъка. Науки и искусства, въчные пямятники усилій ума, единственные признаки его существованія, представляють ничто иное, какъ развитіе сей начальной и следственно неограниченной мысли. Художникъ одушевляеть холсть и мраморъ для того только, чтобъ осуществить свое чувство, чтобъ убъдиться въ его силъ; поэтъ искусственныть образомъ переносить себя въ борьбу съ природою, съ сульбою. чтобъ въ семъ противоръчіи испытать духъ свой и гордо провозгласить торжество ума. Исторія убъждаеть насъ, что сія цель человека есть цель всего человечества; а любомулріе ясно открываетъ въ ней законъ всей природы.

Съ сей точки зрвнія должны мы взирать на каждый народь, какъ на лицо отдівльное, которое къ самопознанію направляеть всів свои нравственныя усилія, ознаменованныя печатію особеннаго характера. Развитіе сихъ усилій составляеть просивіщеніе; цівль просивіщенія или самопознанія народа есть та степень, на которой онъ отдаетъ себъ отчетъ въ своихъ дълахъ и опредъляетъ сферу своего дъйствія; такъ напр., искусство древней Греціи, скажу болье, весь духъ ея отразился въ твореніяхъ Платона и Аристотеля; такимъ образомъ, новъйшая философія въ Германіи есть зрълый плодъ того-же энтузіазма, который одушевляетъ истинныхъ ея поэтовъ, того же стремленія къ высокой цъли, которое направляло полетъ Шиллера и Гёте.

Съ этой мыслью обратимся въ Россіи и спросицъ: вакими силами подвигается она въ цъли просвъщенія? Какой степени достигла она въ сравненіи съ другими народами на семъ поприщъ, общемъ для всъхъ? Вопросы, на которые едва ли можно ожидать отвъта, ибо безпечная толпа нашихъ литераторовъ, кажется, не подозръваетъ ихъ необходимости. У всъхъ народовъ самостоятельныхъ просвъщеніе развивалось изъ начала, такъ сказать, отечественнаго; ихъ произведенія, достигая даже нъкоторой степени совершенства и входя слъдственно въ составъ всемірныхъ пріобрътеній ума, не теряли отличительнаго характера. Россія все получила извнъ; оттуда это чувство подражательности, которое самому таланту приноситъ въ день не удивленіе, но раболъпство; оттуда совершенное отсутствіе всякой свободы и истинной дъятельности.

Началомъ и причиной медленности нашихъ успъховъ въ просвъщении, была та самая быстрота, съ которою Россія приняла наружную форму образованности и воздвигла мнимое зданіе Литературы безъ всякаго основанія, безъ всякаго напряженія внутренней силы. Уму человъческому сродно дъйствовать, и еслибъ онъ у насъ слъдовалъ естественному ходу, то характеръ народа развился бы собственной своей силою

и приняль бы направление самобытное, ему свойственное; но мы, вакъ будто предназначенные противоръчить Исторіи Словесности, мы получили форму литературы прежде самой са сущности. У насъ прежде учебныхъ книгъ появляются журналы, которые обыкновенно бывають плодомъ учености и признакомъ общей образованности, и эти журналы, по сихъ поръ, служать нищею нашему невъжеству, занимая умъ игрою ума, увъряя насъ, нъкоторымъ образомъ, что мы сравнялись просвъщениемъ съ другими народами Европы, и можемъ безъ усиленнаго вниманія следовать за успехами наукъ, столь быстро подвигающихся въ нашемъ въкъ, тогда какъ мы еще не вникли въ сущность познанія и не можемъ похвалиться ни однимъ памятникомъ, который бы носилъ печать свободнаго энтузіазма и истинной страсти къ наукъ.-Вотъ положение наше въ литературномъ мірѣ — положение совершенно отрицательное.

Легче дъйствовать на умъ, когда онъ пристрастился къ заблужденію, нежели когда онъ равнодушенъ къ истинъ. Ложныя мнънія не могуть всегда состояться; онъ пораждають другія; такимъ образомъ вкрадывается несогласіе и самое противоръчіе производить нъкотораго рода движеніе, изъ котораго наконецъ возникаетъ истина. Мы видимъ тому ясный примъръ въ самой Россіи. Давно ли сбивчивня сужденія французовъ о философіи и искусствахъ почитались въ ней законами? И гдъ же слъды ихъ? Они въ прошедшемъ, или разсъяны въ немногихъ твореніяхъ, которыя, съ безсильною упорностію, стараются представить прошедшее настоящимъ. Такое освобожденіе Россіи отъ условныхъ оковъ и отъ невъжественной самоувъренности французовъ было бы торжествомъ ея, если бы оно было дъломъ свободнаго разсудка; но,

въ несчастію, оно не произвело значительной пользы : ибо причина нашей слабости въ литературномъ отношени заключались не столько въ образъ мыслей, сколько въ бездъйствии мысли. Мы отбросили французскія правила, не отъ того, чтобы мы могли ихъ опровергнуть какою-либо положительною системою; но потому только, что не могли примънить ихъ къ некоторымъ произведеніямъ новъйшихъ писателей. которыми невольно наслаждаемся. Такимъ образомъ правила невърныя замънились у насъ отсутствиемъ всякихъ правилъ. Одникъ изъ пагубныхъ последствій сего недостатка нравственной діятельности была всеобщая страсть выражаться въ стихахъ. Многочисленность стихотворцевъ во всякомъ народъ есть върнъйшій признакъ его легкомыслія; самыя пінтическія эпохи исторіи всегда представляють намъ самое малое число поэтовъ. Не трудно, кажется, объяснить причину сего явленія естественными законами ума; надобно только вникнуть въ начало всехъ искусствъ. Первое чувство никогда не творить, и не можеть творить; потому что оно всегда представляеть согласіе. Чувство только порождаеть мысль, которая развивается въ борьбъ, и тогда, уже снова обратившись въ чувство, является въ произведении. И потому истинные поэты всёхъ народовъ, всёхъ вёковъ, были глу-Фоними мыслителями, были философами и, такъ сказать, въщомъ просвъщения. У насъ языкъ поэзи превращается въ механизмъ; онъ делается орудіемъ безсилія, которое не можеть себъ дать отчета въ своихъ чувствахъ и потому чуждается определительнаго языка разсудка. Скажу болве: у насъ чувство, некоторымъ образомъ, освобождаетъ отъ обязанности мыслить, и прельщая легкостію безотчетнаго наслажденія, отвлекаеть отъ высокой цёли усовершенствованія. При семъ нравственномъ положеній Россіи, одно только средство представляется тому, кто пользу ея избереть тыпо своихъ дъйствій. Надобно бы совершенно остановить ныньшній ходъ ея словесности, и заставить ее болье думать, нежели производить. Нельзя скрыть отъ себя трудности такого предпріятія. Оно требуеть тімь болье твердости въ исполненіи, что отъ самой Россіи не должно ожидать никакого участія; но трудность можеть-ли остановить сильное намірьніе, основанное на правилахъ върныхъ и устремленное къ истинъ ? Для сей цъли надлежало бы нъкоторымъ образомъ устранить Россію отъ нынъшняго движенія другихъ народовъ, закрыть отъ взоровъ ся всё маловажныя происществія въ литературномъ міръ, безполезно развлекающія ся вниманіс, и онираясь на твердыя начала, философіи, представить ей полную картину развитія ума человъческаго, картину, въ которой бы она видъла свое собственное предназначение. Сей цъли, кажется, вполив бы удовлетворило такое сочинение, въ которомъ разнообразіе предметовъ не мѣшало бы единству цѣлаго и представляло бы различныя примъненія одной постоянной системы. Такое сочинение будеть журналь, и его вообще можно будеть раздълить на двв части: одна должна представлять теоретическія изследованія самаго ума и свойствь его: другую можно будеть посвятить примъненію сихъ 🔊 изследованій въ исторіи наукъ и искусствъ. Не безполезно бы было обратить особенное внимание Россіи на древній міръ в его произведенія. Мы слишкомъ близки, хотя повидимому, въ просвъщению новъйшихъ народовъ, и слъдственно не должны бояться отстать отъ новъйшихъ открытій, если будемъ викать въ причины, породившія современную намъ образованность, и перенесемся на нъкоторое время въ эпохи ей пред-

шествовавшія. Сіе временное устраненіе отъ настоящаго произведеть еще важнъйшую пользу. Находясь въ міръ совершенно для насъ новомъ, котораго всв отношенія для насъ загадки, мы невольно принуждены будемъ дъйствовать собственнымъ умомъ для разръшенія всьхъ противорьчій, которыя намъ въ ономъ представятся. Такимъ образомъ, мы сами сдълаемся преимущественнымъ премдетомъ нашихъ разысканій. Древняя пластива или вообще духъ древняго искусства представляеть намь обильную жатву мыслей, безь коихъ новыйшее искусство теряетъ большую часть своей цёны и не имфетъ полнаго значенія въ отношеніи въ идев о челов'явъ. И такъ философія и примъненіе оной ко всемъ эпохамъ наукъ и искусствъ — вотъ предметы, заслуживающие особеннаго нашего вниманія, предметы темъ болю необходимые для Россіи, что она еще нуждается въ твердомъ основания изящныхъ наукъ, и найдеть сіе основаніе, сей залогь своей самобытности и следственно своей нравственной свободы въ литературе, въ одной философіи, которая заставить ее развить свои силы и образовать систему мышленія.

Вотъ подвигъ, ожидающій тёхъ, которые возгорять благороднымъ желаніемъ въ пользу Россіи, и слёдственно человічества, осуществить силу врожденной діятельности и воздвигнуть торжественный памятникъ любомудрію, если не въ літописяхъ цілаго народа, то по крайней мізрів въ нізсколькихъ благодарныхъ сердцахъ, въ коихъ пробудится свобода мысли изящнаго и отразится лучъ истиннаго познанія.

три эпохи любви *

(Отрывокъ.)

Три эпохи любви переживаетъ сердце, для любви рожденное. Первая любовь чиста, какъ пламень; она, какъ пламень, на все равно свътитъ, все равно согръваетъ; сердце нетериъливо рвется изъ тъсной груди; душа просится наружу; руки все обнимаютъ, и юноша, въ первомъ роскошномъ убранствъ весны своей, въ первомъ развитии способностей, плънителенъ какъ младое древо въ раннихъ листьяхъ и цвътахъ. Какъ бы ни являлась ему красота, она для него равно прекрасна. Взоръ его не ищетъ Венеры Медицейской, когда онъ изумляется важному зрълищу издыхающаго Лаокоона. Холод-

^{*)} Вотъ что сказано объ этомъ отрывкъ въ предисловін къ первому изданію прозаическихъ сочиненій Веневитинова:

[«]Отрывовъ подъ заглавіемъ: Три эпохи любвй, принадлежаль въ неоконченному роману, коего нікоторыя главы отчасти набросаны, но здісь не поміщены, потому что, вніс связи съ цілымъ, оніс теряють свое достоинство и показались бы неумістными. Въ замісну, мы по возможности сообщимъ изъ романа все, что авторъ намъ изустно передаль объ его планіс никогда ненаписанномъ, но коего общія черты были опреділены въ его уміс; ибо романъ сей быль главнымъ предметомъ мислей Д. Веневитинова въ послідніе міссяцы его кратковременной жизні.

[«]Владиміръ Паренскій, единственный сынъ богатаго Паца Польскаго, извъстнаго голосомъ своимъ на сеймахъ, былъ порученъ етцемъ, передъ его смертію, подъ опеку и на воспитаніе старому его другу, доктор Фриденгейму, который жилъ вблизи одного изъ знаменитъйшихъ Университетовъ Германіи и сдълался въ последствіи начальникомъ Медицинской Академін. Въ домѣ опекуна своего провелъ Владиміръ счастливые годы молодости. Часы ребяческаго досуга раздъляль онъ съ дочерью своего воспитателя, Бентор, и съ ранвихъ лётъ началась между ними тѣсная, неразрывная дружба, заронилось неясное предчувствіе страсти болѣе пламенной, болѣе гибельной. Настало для Паренскаго время посѣщенія публичныхъ курсовъ въ Университетъ. Вскорѣ удивилъ онъ своихъ наставниковъ успѣхами неожиданными. Съ равною легкостію и жаромъ слѣдовалъ онъ за различными отраслями наукъ, и, хотя не принадлежаль къ медицинскому отдѣленію,

ныя слова строгаго Омира и теплые нап'явы чувствительнаго Петрарки равно звучны въ устахъ его, и любовница его — . одна вселенная. Это эпоха восторговъ.

Настаетъ другая. Душа упилась; взоры устали разбътаться; имъ надобно успокоиться на одномъ предметъ. Возмется им юноша за кисть: не древній Іосифъ, не Ангелъ благовъститель рождается подъ нею, но образъ чистой дъвы одушевляетъ полотно. Счастлива первая дъва, которую онъ встрътитъ! Какая душа посвящаетъ ей свои восторги! Какою пре-

но, по собственному желанію, не пропускаль ни одной изъ анатомическихъ лекцій своего наставника и получиль со временемь весьма основательным понятія о сей наукь. Онь любиль ногружаться въ глубокія размышленія о началь жизни въ человъческомъ тѣль. Онъ удивлялся стройности, расположенію, безконечности частей его составляющихь. Онъ старался разгадать этотъ малый міръ, вникнуть въ сокровенное, узнать тѣсную, но тайную связь хуши и тѣла. Мысли его стремились далье и далье. — Въ немъ родились сомнънія. — Съ тайною радостію, можетъ быть, съ тайною надеждою взирала Бента на быстрые успъхи Паренскаго, на первенство, которое онъ возъимъль надъ товарищами, на удивленіе и любовь его наставниковъ, на это видимое предназначеніе въ немъ человъка необыбновеннаго, выспренняго.»

«Пробывши и всколько льть въ Университеть, Паренскій вздумаль путешествовать. Гонимый сомнаніями, тревожимый мучительною жаждою познанія, онъ надъялся, что жизнь дъятельная, другое направленіе душевныхъ способностей, разселть въ немъ неукротимые порывы мечты; что усивжи свътскіе, честолюбіе, слава, пленяющая людей, вознаградять его нравственныя мученія и дарують ему успокоеніе, блаженство. Со вниманіемъ и любопытствомъ пробхаль онъ многія страны, и наконець прибыль въ Россію, где его связи и дарованія вскоре доставили ему значительное и блестящее мъсто по службъ. Здъсь познакомился онъ съ одною молодою дівушкою, которая уже была сговорена за другаго. Паренскій почувствоваль из ней тайное влечение. Не стараясь победить сего чувства, онъ сталь часто посещать ся домь, но вскоре заметиль, что, же смотря на насковое съ нимъ обхождение, та искрениям дружба, которую ему окавывали, не отвёчала его усилившейся пламенной любви. Гордость его была обижена. Въ немъ родилась ревность. Предавшись съ отчанніемъ сему пагубному чувству, онъ дерзнуль на злоденніе. Онъ более сблизился съ своимъ соперникомъ, бывшимъ товарищемъ его въ Университетъ, не сиъя лестью облекаеть ее молодое воображеніе! Какъ пламенны о ней пъсни. Какъ нъжно юноша плачеть! Эта эпоха одинъ мигъ, но лучшій мигъ въ жизни.

Что разочаровываеть отрока, когда онъ разбиваеть имъ созданную игрушку? Что разочаровываеть поэта, когда онъ предаеть огню первые, быть можеть, самые горяче стихи свои? Что заставляеть юношу забыть первый идеаль свой, забыть тоть образь, въ который онъ выливаль всю душу? Мы не долго любимъ свои созданія, и природа приковываеть насъ

очернить его предъ своею возлюблениой. Въ притворной дружбъ съ нимъ онъ подариль ему образь, въ которомъ сокрыть быль ядь — и чрезъ несколько времени избавился отъ него. Онъ надъялся, что отчаяние молодой дъвушки укротится, что участіе, которое онъ, по видимому, принималь въ ея положенін, мнимая скорбь объ умершемъ другь, наконецъ, самая дружба съ нимъ и собственныя преимущества предъ нимъ, мало-по-малу, вытъснять его память изъ ея сердца, и что она невольно предастся въ разставленныя имъ съти. Но здоровье ея примътно стало слабъть, сильный недугъ обуяль ее. и Владиміръ, однажды по утру войдя въ ея домъ, видитъ ея холодный трупъ, лежащій на столь среди комнаты. Съ отчанньемъ узнаеть онъ образъ на ея груди. - Что это? вскрикиваетъ онъ. - Ему, отвъчаютъ, что этоть образь быль снять передь смертію повойнымь ся женихомь съ собственной его груди, и ей завъщанъ съ тъмъ, чтобы она его всегда носила на себъ въ знакъ памяти. Для Паренскаго все открыто. Онъ самъ убінца своей возлюбленной! -- Онъ сившить оставить край, гдв двв грозныя твии всюду его преследують».

«Снова объёзжаеть онъ многія страни, но нигді не встрічаеть успокоенія души, укрощенія совісти. Разочарованний, онъ въ Германіи онять хочеть приняться за любимую свою науку, анатомію. Въ первый разь какъ онъ послі многихь ліэть входиль въ анатомическую залу, она еще была пуста, слушатели не собирались, профессоръ еще не приходиль. На столі лежало покрытое тіло, приготовленное для лекціи. Паренскій безъ ціли, въ раздумьи, подходить къ столу, и разсілянно поднимаёть покрывало. Предъ нимъ трупь прекрасной женщины и возлі нея лежать инструменти для вскрытія тіла. Съ судорожнымъ движеніемь онъ отворачивается. — Это зрілище взволновало въ немъ восноминанія, сожалініе, страхъ, совість. Въ огромной залі онъ одинъ предъ обнаженнимъ мертвымъ тіломъ. — Для него и все въ міріз мертво. Онъ клянется никогда не возращаться въ сіє місто».

къ дъйствительности. Дорого платить юноша за восторги второй любви своей. Чъмъ болье предполагаль онъ въ людяхъ, тъмъ мучительнъй для него теперь ихъ встръча. Онъ молчаливъ и задумчивъ. О, если тогда на другомъ челъ, въ другихъ очахъ прочтетъ онъ слъды тъхъ же чувствъ, если онъ подслушаетъ сердце, бъющееся согласно съ его сердцемъ, — съ какою радостью подаетъ онъ руку существу родному! И какъ ясно понимаютъ они другъ друга! — Вотъ третья эпоха дибъви: это эпоха думъ

«Онъ прівзжаеть въ домъ доктора Фриденгейма, гдв все ему знавомо, и ничто не можеть возбудить прежнихъ чувствъ. Бента не понимаеть его перемвны. Онъ бъжить отъ людей, онъ страшится и ея бесъды. Однажды вечеромъ проходить онъ безъ цёли, по обыкновенію своему, по дорожкамъ сада, и, отягченный думами, усталый бросается на скамью. Все тихо, одна луна плыветь на небосклонь, и изръдка звёзды мелькають въ синевъ. — Владиміръ чувствуеть, что кто-то сзади подходить къ нему; онъ оборачивается и узнаеть Бенту. Она тихо слъдовала за нимъ по тропинкамъ, собираясь уже давно извъдать отъ него причины его мрачности и равнодумія къ ней. — Съ робостію, въ первый разъ, произносить она слово любъй, и пламенныя уста Паренскаго горять на груди дочери его благодътеля. Отъ сей минуты утратилось невинное счастіе Бенты! Владиміръ, ея демонъ-соблазнитель, оторваль отъ сердца ея покой, и вскорѣ стыдъ и скорбь низводять ее въ могилу».

«Такимъ образомъ, влекомый отъ преступленія къ преступленію, мучимый совъстію, новыми страстями, Владиміръ Паренскій, одаренный отъ природы качествами необыкновенными, проводить молодые свои года. — Что жь стало съ нимъ въ послъдствіи? Со временемъ всѣ страсти въ немъ перегоръли, душевныя силы истощились; всѣ дъйствія его были безъ намъренія; онъ сдѣлался человъкомъ обыкновеннымъ; люди простые почитали его даже добродѣтельнымъ, потому что онъ не творилъ зла. Но онъ живой, уже быль убитъ, и ничѣмъ не могъ наполнить пустоту души.» — Романъ этотъ, по словамъ автора «предисловія», долженствовалъ составить довольно пространное сочиненіе и Веневитиновъ, съ особенной любовью и краснорѣчіемъ, говорилъ о немъ. Можно предположить, безъ большой смѣлости, что въ этомъ романъ Веневитиновъ котъль изобразить свои собственныя волненія, свою «мучительную жажду познанія» — словомъ, всѣ тревожные вопросы, возникавшіе въ его собственномъ умѣ.

письмо къ графинъ N. N. *

Могъ ли я полагать, любезнъйшая графиня, что бесъды наши завлекуть насъ такъ далеко? Начали съ простаго разбора нъмецкихъ стихотворцевъ, потомъ стали разсуждать о самой поэзіи, а теперь уже пишу къ вамъ о философіи. Не пугайтесь этого имени; вы сами требоваци отъ меня развитія философскихъ понятій, хотя выражались пругими словами. Не вы ли сами заметили мне, что одно чувство наслажденія, при взглядъ на какое нибудь изящное произведеніе, для васъ неудовлетворительно, что вакое-то любопытство заставляло васъ требовать отъ себя отчета въ этомъ чувствъ, -- спросить, какою силою оно возбуждается, въ какой связи находится съ прочими способностями человъка? Такимъ образомъ сдълали вы сами собою первый шагь во храму богини, которая болье всвую прочихъ таится отъ взоровъ смертныхъ. Радуясь блистательнымъ вашимъ успъхамъ, я объщалъ представить вамъ, въ краткомъ и простомъ изложени, такую науку, которая совершенно удовлетворить вашему любопытству, и это объща-. ніе рышился я исполнить въ настоящихъ письмахъ о философіи. Впрочемъ объ имени спорить не будемъ. Если оне заслужило негодование многихъ, если большой светь не различаеть философіи отъ педантизма, то я согласень дать бесьдамъ нашимъ другое названіе: мы будемъ не философствовать,

^{*} Письмо это было адресовано къ княгинъ А. И. Трубецкой. Веневитиновъ намъревался, въ цъломъ рядъ писемъ, развить всю систему философіи, «представить: какъ всъ науки сводятся на философію и изъ нея обратно выводятся».

будемъ просто думать, разсуждать.... Но къ чему такое замъчаніе? Я знаю васъ, графиня, и потому буду сміть говорить вамъ именно о философіи. Вы слишкомъ умете ценить наслажденія умственныя, чтобы останавливаться на пустыхъ звукахъ и не свергнуть оковъ нелъпаго предубъжденія. Вы знаете, вы всякой день слышите, что философію называють бредонь, нустой игрою ума; но въ этомъ случав вврно никому не повърите, кромъ собственнаго опыта. И такъ, испытывайте. Если собственный разсудовъ вашъ оправдаетъ сім укоризны, не върьте философіи, или, лучше сказать, не върьте тому, вто ванъ представилъ ее въ таконъ видъ. Я санъ, начиная письма мои, прошу васъ не забывать одного условія, и воть оно: если я на одну минуту перестану быть яснымъ, то изорвите мои письма, запретите мив писать объ этомъ предметв. Между темъ, пусть суетные безумцы смеются надъ нашими занятіями; — мы надвемся стать на такую высоту, съ которой не слышенъ будетъ презрительный ихъ хохотъ, а они, несчастные. и такъ уже довольно наказаны судьбою, которая лишила ихъ способа наслаждаться, подобно намъ, благороднъйшими наклонностями человъка.

Прежде нежели посвятите себя таинствамъ элевзинскимъ, вы конечно спросите: дли чего учреждены они и въ чемъ заключаются; но не даромъ они таинства, и этого вопроса не
дълають при входъ. Лишь нъсколько жрецовъ, посъдълыхъ
въ служении и гаданіяхъ, могли бы отвъчать на него. Они
хранять глубокое молчаніе, и вопрошающій получаетъ только
одинъ отвътъ: "Иди впередъ, и узнаешь". Тоже съ философіей. Вы хотите знать ея опредъленіе, ея предметь, и на это
я не могу дать вамъ ръшительнаго отвъта. Но мы вмъстъ
будемъ искать его въ самой наукъ, и потому сдълаемъ дру-

гой вопросъ: можетъ ли быть наука, называемая философіей, и какъ родилась она?

Положимъ себъ за правило: на всемъ останавливать наше внимание и не пропускать ни одного понятія безъ точнаго опредъленія. И потому, чтобы безошибочно отвъчать на предложенный нами вопросъ, спросимъ себя напередъ: что понимаемъ мы подъ словомъ: наука? — Если бы вто нибудь спросиль вась: что такое исторія? Вы бы върно отвъчали: наука происшествій, относящихся до бытія народовъ. — Что такое ариеметика? — наука чисель, и т. д. Следовательно, исторія и ариометика составляють двв науки: но въ опредвленіи каждой изъ нихъ заключается ли опредъление науки вообще? Разсмотримъ отвъты подробнъе. Ариеметика-наука чиселъ. Что это значить? Конечно то, что ариометика открываеть законы, по которымъ можно разрёшать всё численныя задачи, или другими словами, что ариеметика представляеть общія правила для всёхъ частныхъ случаевъ, выражаемыхъ числами: такъ напримъръ, даетъ она общее правило сложенія для всехъ возможныхъ сложеній. Если мы такимъ же образомъ раземотримъ и другой отвъть, то увидимъ что исторія стремится связать случайныя событія въ одно для ума объятное цёлое; для этого исторія сводить действія на поичины и обратно выводить изъ причинъ дъйствія. Въ объихъ сихъ наукахъ (въ ариометикъ и въ исторіи) замъчаемъ мы два условія: 1) Каждая изъ нихъ стремится привести частные случаи въ теорію. 2) Каждая имфеть отдельный, ей •только собственный предметь. Применимь это къ прочить. намъ извъстнымъ, наукамъ, и мы увидимъ, что вообще наука есть стремленіе приводить частныя явленія въ общую теорію или въ систему познанія. Следовательно, необходимня

условія всякой науки суть: общее это стремленіе и частный предметь; другими словами: форма и содержаніе. Вы позволите мнѣ, любезнѣйшая графиня, иногда употреблять сіи выраженія, принятыя всёми занимающимися нашимъ предметомъ, и потому прошу вась не терять изъ виду ихъ значенія. Впрочемъ объяснимся еще подробнѣе. Если всякая наука, чтобъ быть наукою, должна быть основана на какихъ нибудь частныхъ явленіяхъ (т. е. имѣть содержаніе), и приводить всѣ эти явленія въ систему (т. е. имѣть форму), то форма всѣхъ наукъ должна быть одна и таже; напротивъ того, содержанія должны различествовать въ наукахъ, напр. содержаніе ариеметики — числа, а исторіи — событія. Вы теперь видите, что слово "форма," выражаетъ не наружность науки, но общій законъ, которому она необходимо слѣдуєтъ.

Съ этими мыслями возвратимся къ философіи, и заключимъ: если философія— наука, то она необходимо должна имъть и форму и содержаніе; но какъ доказать, что философія имъетъ содержаніе или предметъ особенный, если мы еще не знаемъ, что такое философія? — Постараемся побъдить это затрудненіе, и примемся за вопросъ: какъ родилась философія?

Всв науки начались съ того, что человъкъ наблюдалъ частные случаи и всегда старался подчинять ихъ общимъ законамъ, т. е. приводить въ систему познанія. Разсмотрите ходъ собственныхъ вашихъ занятій, и это покажется вамъ еще яснъе. Вы начали читать нъмецкихъ поэтовъ. Умъ вашъ, сосдинивъ всъ впечатлънія, которыя получилъ отъ нихъ, составилъ понятіе о литературъ нъмецкой и отличилъ ее отъ всякой другой, привязавъ къ ней идею особеннаго характера. Этого мало: изъ понятій о частныхъ характерахъ по-

этовъ, вы составили себъ общее понятіе о поэзін, въ ней заключили вы идею гармоніи, прекраснаго разнообразія; словомъ, вы окружили ее такими совершенствами, которыхъ ин напрасно бы стали искать у одного какого-либо поэта. Ибо поэзія для насъ богиня невидимая; лишь отдівльно разсівяни по вселенной прекрасныя черты ся. Чувство, привыкшее узнавать печать божественнаго, различило разбросанныя черти сін на лицахъ нъсколькихъ любимцевъ неба; изъ нихъ сотворило оно идеаль свой, назвало его поэзіей и воздвигло ему жертвенникъ. Въ последнемъ письме своемъ ко мив, не довольствуясь одною идеей поэзіи и безотчетнымъ наслажденіемъ ею, вы обратили внимание на самое чувство, на действие самаго ума. Выписываю собственныя слова ваши:.... "Не тоже ли я чувствую, удивляясь превосходной Мадоннъ Рафазия и слушая музыку Бетговена? Не такъ же ли наслаждаюсь прелестною статуей древности и глубокою поэзіей Гёте? Это заставило меня спросить: вакъ могли бы различные предметы породить одно и тоже чувство, если это чувство, эта искра изящнаго не таилась въ душъ моей прежде, нежели пробудил ее предметы изящные. Я по сихъ поръ не нахожу отвъта и т. д." Мы найдемъ его, любезнъйшая графиня, вы сами его найдете; но не здёсь ему мёсто, и мы возвратимся теперь къ предмету, чтобы не выпустить изъ рукъ аріадниної нити.

Какъ развились собственныя ваши понятія, такъ постепенно развивались и науки. Въ семъ развитіи, какъ вы сани можете замътить, находятся различныя степени, опредъляющія степени образованія. Чъмъ болье наука привела частные, случам въ общую систему, тъмъ ближе она къ совершенству. Слъдовательно, совершеннъйшая изъ всъхъ наукъ будеть та, которая приведеть всё случаи или всё частныя познанія человека въ одному началу. Такая наука будеть не математика,
ибо математика ограничила себя одними измёреніями; онабудеть не физика, которая занимается только законами тёль;
словомь, она не можеть быть такою наукою, которая имёеть
въ виду одинь отдёльный предметь; напротивь того, всё
науки (какъ частныя познанія) будуть сведены ею въ одному
началу, слёдовательно будуть въ ней заключаться, и она, по
справедливости, назовется наукою наукъ. Но мы выше замётили, что всякая наука должна имёть содержаніе и форму;
посмотримь, удовлетворяеть ли симь условіямъ наука, которую мы теперь нашли и которую, по примёру многихъ стольтій, назовемъ философією.

Если философія должна свести всё науки къ одному началу, то предметомъ философіи должно быть нѣчто, общее всёмъ наукамъ. Мы доказали выше, что всё науки имѣютъ одну общую форму, т. е. приведеніе явленій въ познаніе; слѣдовательно, философія будетъ наукою формы всёхъ наукъ или наукою познанія вообще. И такъ содержаніе ея будетъ познаніе, не устремленное на какой нибудь особенный предметъ; но познаніе, какъ простое дѣйствіе ума, свойственное всѣмъ наукамъ, какъ простая познавательная способность. Формою же философіи будетъ тоже самое стремленіе къ общей теоріи, къ познанію, которое составляетъ форму всякой науки. Заключимъ: философія, есть наука; ибо она есть познаніе самаго познанія, и потому имѣетъ форму и предметъ.

Впоследствін мы увидимъ, какъ всё науки сводятся на философію и изъ нея обратно выводятся: но для примера припомнимъ опять то, что вы сами чувствовали. Вы видели Мадонну — и она привела васъ въ восторгъ; вы спросили: отчего эта мадонна прекрасна? и на это отвъчала вамъ наука прекраснаго или эстетика; но вы спросили: отчего нувствую я красоты сей мадонны? Какая связь между ею и мною? — и не могли найти отвъта. Онъ принадлежитъ, какъ мы увидимъ впослъдствіи, къ философіи; ибо тутъ дъло идеть не о законахъ прекраснаго, но о началъ всъхъ законовъ, объ умъ познающемъ, принимающемъ впечатлънія.

Я не скрою отъ васъ, что философія претерпъла удивительныя перемъны и долго была источникомъ самыхъ несообразныхъ противоръчій. Какая наука не подлежала той же участи? Замъчательно однакожь, что она всегда почиталась наукою важнъйшею, наукою наукъ, и не смотря на то, что обыкновенно была достояніемъ небольшаго числа избранныхъ, всегда имъла ръшительное вліяніе на цълые народы. Впоследствін мы заметимь это вліяніе, особенно у у -грековъ. Мы увидимъ, какъ философія развилась въ ихъ самой жизни и стремилась свободно къ своей цъли. Ученые спорили между собою, противорфчили другъ другу, опровергали системы и на развалинахъ ихъ воздвигали новыя; и при всемъ томъ наука шла постояннымъ ходомъ, не измъняя общаго своего направленія. — Вожественному Платону предназначено было представить въ древнемъ мірѣ самое полное развитіе философіи, и положить твердое основаніе, на которомъ въ сіи последнія времена воздвигнули непоколебимый, великольный храмь Богини. Чрезъ нъсколько льть, я буду совътовать вамъ читать Платона. Въ немъ найдете вы столько же поэзіи, сколько глубокомыслія, столько же пищи для чувства, сколько для мысли.

Мы не будемъ разбирать различныхъ опредъленій философіи, изложенныхъ въ отдъльныхъ системахъ. Иные называли ее наукою человъка, другіе наукою природы и т. д. Мы доказали себъ, что она наука познанія, и этого для насъ довольно; и съ этой точки будемъ мы смотръть на нее въ будущихъ нашихъ бесъдахъ.

РАЗБОРЪ РАЗСУЖДЕНІЯ Г. МЕРЗЛЯКОВА О НАЧАЛЪ И 'ДУХЪ ДРЕВНЕЙ ТРАГЕДІИ И ПРОЧ.,

напечатаннаго при изданіи его подражаній и переводовъ изъ греческихъ и латинскихъ стихотворцевъ.

Amicus Plato, magis amica veritas.

Прискорбно для любителя отечественной словесности возставать на мнѣнія вѣрнаго ея жреца въ то самое время, когда онъ приноситъ ей въ даръ новый плодъ своихъ трудовъ, и въ живыхъ переводахъ передавая намъ духъ и красоты древней поэзім, воздвигаетъ памятникъ изящному вкусу и чистому русскому языку; но чѣмъ отличнѣе заслуги г. Мерзлякова на поприщѣ словесности, тѣмъ опаснѣе его ошибки по общирности ихъ вліянія, — и любовь къ истинѣ принуждаетъ нарушить молчаніе, повелѣваемое уваженіемъ къ достойному литератору.

Разсужденіе г. Мерзлякова "о началѣ и духѣ древней трагедіи" оправдываетъ истину, давно извѣстную, что тотъ, кто чувствуетъ, не всегда можетъ отдать себѣ и другимъ вѣрный отчетъ въ своихъ чувствахъ. Красоты поэзіи близки сердцу человѣческому, и слѣдственно, легко ему понятны; но чтобы произнесть общее сужденіе о поэзіи, чтобы опредѣлить достоинства поэта, надобно основать свой приговоръ на мысли опредѣленной, и эта мысль не господствуетъ въ теоріи г. Мерзлякова, въ которой главная опибка есть, можетъ быть,

недостатокъ теоріи: ибо нельзя назвать симъ именемъ искры чувствъ, разбросанныя понятія о поэзіи, часто облеченныя прелестью живописнаго слова, но не связанныя между собою, не озаренныя общимъ взглядомъ и перебитыя явными противоръчіями. Кто изъ сего не замѣтитъ, что рецензенту предстоитъ двойной трудъ? Говоря о такомъ разсужденіи, въ которомъ нѣтъ систематическаго порядка, онъ находится въ необходимости—не только опровергать ошибочныя мнѣнія, но и упоминать часто о томъ, что должно бы заключаться въ сочиненіи объ отрасли изящныхъ искусствъ. Къ несчастію, мн встрѣтимъ довольно доказательствъ къ подтвержденію всего вышесказаннаго. Приступимъ къ дѣлу. Г. Мерзляковъ останавливаетъ насъ на первомъ шагу. Вотъ слова его:

"Трагедія и комедія, такъ какъ и всё изящныя искусства, обязаны своимъ началомъ более случаю и обстоятельствамъ, нежели изобрътению человъческому." Нужно ли доказывать неосповательность сего софизма, когда самъ авторъ опровергаетъ его на следующей странице ? "Вероятно, говорить онъ, что трагедія не принадлежить однимь грекамь, одному какому-либо народу; но всемъ народамъ и всемъ векамъ. "Оно болъе, нежели въроятно; оно неоспоримо, если мы здъсь подъ словомъ трагедія понимаемъ драматическую поэзію; но въроятно-ли, чтобы эти два періода были писаны однимъ перомъ, въ разстояніи одной страницы. То, что принадлежить "всемь народамъ, всемъ векамъ, не принадлежить ли, однимъ словомъ, человъку, его природъ, и можетъ-ли быть обязано своимъ началамъ "случаю ?" "Обстоятельства ли" породили въ -человъкъ мысль и чувства? И что значить здъсь "человъческое изобрътение 9" Кто изобрълъ языкъ 9 Кто, первый, открыль движенія тела, выражающія состоянія сердца и духа? Но г. Мерзляковъ, не подтверждая перваго своего предложенія, тотчась бросаеть эту мысль, ни съ чёмъ не связанную, какъ неудачно избранный эпиграфъ, и продолжаетъ: "Мудрая учительница наша природа явила себя нашь во всемъ своемъ великольніи, красоть и благахъ неизчетныхъ, возбудила подражательность и передала милое чадо свое на воспитание нашему размышлению, наблюдениямъ и опыту и пр." Положимъ, что такъ; но читатель едва ли постигаетъ сокрытое отношение сей мысли къ трагедии и комедии. Поэтъ, безъ сомивнія, заимствуєть изъ природы форму искусства; ибо нізть формы вив природы; но и "подражательность" не могла породить искусствъ, которыя проистекають отъ избытка чувствъ и мыслей въ человъкъ, и отъ нравственной его дъятельности. Тайна сей загадки не разръшается, и немедленно послъ сего следуеть исторія козла, убитаго Икаромъ. и греческихъ праздниковъ въ честь Вакха. Въ семъ разсказв не заключается ничего особеннаго. Онъ находится во всёхъ теоріяхъ, которыя, не объясняя постепенности существеннаго развитія искусствъ, облекаютъ въ забавныя сказочки исторію ихъ происхожденія. И такъ, мы не будемъ следовать за г. Мерзляковымъ, когда онъ самъ не слъдуетъ своей собственной нити въ разысканіяхъ и воспоминаетъ давно изв'ястное и пересказанное. Замътимъ только, что, при нынъшнихъ успъхахъ эстетики, ны ожидали въ исторіи трагедіи болве занимательности. Для чего не показать намъ ея развитія изъ соединенія лирической поэзіи и эпопеи? Для чего не намекнуть на общую колыбель сихъ родовъ поэзіи? Изъ подобныхъ замъчаній внимательный читатель заключиль бы, что они неотъемлемо принадлежать человъку, какъ необходимыя формы, въ которыя выливаются его чувства. Мы бы объяснили себъ, отъ

чего находимъ слёды ихъ у всёхъ народовъ; увидёли бы, что не стремленіе къ подражанію править умомъ челов'ява, что онъ не есть въ природъ существо, единственно страдательное. Но здёсь не кстати распространяться о поизтіяхъ такого рода, и воздвигать новую систему на м'есто мною разбираемой теоріи; тёмъ болёе, что г. Мерзлякозъ, кажется, отвергаеть всв новвишія открытія и, ввроятно, не уважить доказательствъ, на нихъ основанныхъ. Онъ говорить ръшительно, что: "соблазняемые, къ несчастію, затыйливынь воображениемъ нашихъ романтиковъ, мы теперь увлекаемся быстрымъ потокомъ весьма сомнительныхъ временныхъ мивній" и видить туть: "судьбу изящныхъ искусствъ, склоняющихся уже къ унижение. Я осмълюсь вступиться за честь нашего въка. Новъйшія произведенія, безъ сомнънія, не могуть сравниться съ древними, въ разсуждении полноты и подробнаго совершенства. Въ нихъ еще не опредълены отношенія частей къ цфлому. Я съ этимъ согласенъ. Но законы частей не опредълятся-ли сами собою, когда цълое направлено къ извъстной цъли? Нашу поэзію можно сравнить съ сильнымъ годосомъ, который съ высоты взывая къ небу, пробуждаеть со всъхъ сторонъ отголоски и усиливается въ своемъ порывъ *). Поэзія древнихъ плъняеть насъ, какъ гармоническое соедине-

^{*)} Замѣтимъ, что мы здѣсь говоримъ о тѣхъ только произведеніяхъ, которыя опредѣляютъ общее направленіе мыслей въ нашемъ вѣкѣ. Extrema cocunt. Весь міръ составленъ изъ противуположностей, и нашъ литературный міръ ими богатъ. Но для чего судить по каррикатурамъ? Бездушныя поэмы, въ которыхъ пѣтъ ни начала, ни конца, безхарактерные романы и повѣсти, бранчивыя критики, писанныя единственно во зло врожденных законамъ логики и условнымъ правиламъ приличія, еще менѣс принадъежатъ къ числу романтическихъ сочиненій, нежели поэмы Шапелена къ позін классической.

Прим. В—ва.

ніе многихъ голосовъ. Она превосходить новъйшую въ совершенствъ соразмърностей; но уступаетъ ей въ силъ стремленія и въ обширности объема. Поэзія Гёте, Байрона есть плодъ глубокой мысли, раздробившейся на всв возможныя чувства. Поэзія Гомера есть върная картина разнообразныхъ чувствъ, сливающихся, какъ бы невольно, въ мысль полную. Первая, какъ бы потокъ, рвется въ безконечному; вторая, какъ ясное озеро, отражаеть небо, эмблему безконечнаго. Каждый въкъ имъетъ свой отличительный характеръ, выражающійся во всъхъ умственныхъ произведеніяхъ: на всь равно распространяется наблюдение истиннаго филолога, и замътимъ, что науки и искусства еще не близки къ своему паденію, когда умы находятся въ сильномъ броженіи, стремятся къ цели определенной, и дъйствують по врожденному побуждению къ дъйствію. Гдв видны усилія, тамъ жизнь и надежда. Но тогда имъ угрожаетъ неминуемая опасность, когда всв порывы пре-- кращаются; настоящее тянется рабольшно по следамъ минувшаго, когда холодное безстрастіе возседаеть на памятникахь сильныхъ чувствъ и самостоятельности, и целый векъ представляеть зрълище безнадежнаго однообразія. Воть что намъ доказываеть исторія философіи, исторія литературы. — Но возвратимся въ г. Мерзлякову.

Онъ переносить насъ въ первыя времена Греціи и живописуетъ намъ начальные успъхи гражданственной ея образованности. Въ этой части разсужденія, какъ и во многихъ другихъ, видно клеймо истиннаго таланта. Ясное воображеніе автора не ръдко увлекаетъ читателя; жаль, что мысли его не выходятъ изъ сферы, очерченной, кажется, предубъжденіемъ. Въ литературъ право давности не должно бы существовать, а г. Мерзляковъ жертвуетъ ему часто собственнымъ сужде-

ніемъ; потому и порывы чувствъ его бывають подобны блуждающимъ огнямъ, которые принимаютъ путника, но сбиваютъ его съ дороги. Кто ожидалъ бы, чтобъ въ нашемъ въкъ взирали на поэзію, какъ на "орудіе политики;" чтобъ мы были обязаны трагедіей "мудрымъ правителямъ первобытныхъ обществъ ? " Какъ ? — поэзія, "получившая свое существованіе отъ случая, продена, сверхътого, влачить оковы рабства отъ самой колыбели ? Безполезно опровергать эту мысль. - Тоть, кто питаетъ въ сердцъ страсть къ искусствамъ, страсть къ просвъщенію, самъ ее отбросить. Въ первобытномъ состояніи Греціи, безъ сомнѣнія, политика умѣла извлекать пользу изъ произведеній великихъ поэтовъ. Мы видимъ, что Солонъ, Пизистратъ и Пизистратиды распространяли рапсодіи Гомера и дъйствовали тъмъ на духъ цълаго народа; но оно не доказываеть ли, что политика, имфвшая одну только цфль въ виду: любовь къ отечеству, свободъ и славъ, не уклонялась отъ духа въка, который быль вечернею зарею героической эпохи, воспетой Гомеромъ? Можно ли изъ сего заключить, что поэзія была орудіемъ правителей? Нѣтъ! она была принаровлена къ современнымъ нравамъ и узаконеніямъ -- безъ сомивнія; но потому только, что и сама философія, во время рожденія трагедіи въ Греціи, была болье нравоучительною, нежели умозрительною. Понятія о двухъ началахъ, перешейшія въ Грецію, въроятно изъ Египта, гдъ они были господствующими, начинали уже искореняться; аллегоріи Гомера, въ которыхъ заключалась вся философія ихъ времени, теряли уже высокія свои значенія, когда явился Эсхиль, облевь въ форму своихъ трагедій народныя преданія и воскресиль на сценъ забытыя мысли древней философіи. Многіе укоряли его въ томъ, что онъ обнаруживаль въ своихъ творенихъ

W.

сокровенныя истины элевзинскихъ таинствъ, въ которыхъ хранился ключь къ загадкамъ древней минологіи. Этотъ укоръ не доказываеть ли, что сей писатель стремился соединить новзію съ любомудріемъ? Ав. Шлегель, съ большею основательностію, предполагаеть, что аллегорическое его произведеніе, Прометей, принадлежить къ трилогу, коего двѣ части для насъ потеряны. Эта форма, заключающая въ себъ развитіе полной философической мысли, кажется принадлежностію трагедій Эсхила, который въ Агамемнонв, Коефорахъ и Умодяющихъ, оставилъ намъ примъръ полнаго трилога. Теперь мы легко объяснимъ себъ, отчего Гомеръ былъ обильнымъ источникомъ для греческихъ поэтовъ. И подлинно: гдв имъ было черпать, какъ не въ твореніяхъ такого генія, который быль зеркаломъ минувшаго, являлся имъ въ атмосферъ высокихъ, ясныхъ понятій, дышалъ свободнымъ чувствомъ красоты, въ изсняхъ своихъ открывалъ передъ ними великолъпный мірь со всеми его отношеніями къ мысли человека. После сихъ замъчаній, естественно представляется вопрось: быль-ли Гомеръ философомъ? Стремился-ли онъ сосредоточить и развить разсвянныя понятія религіи? Вопрось твиъ болве любопытный, что, не разръшивъ его, нельзя опредъдить достоинства поэтовъ, последователей Гомера, нельзя даже судить объ усивхахъ самаго искусства.

Этого вопроса не сдёлаль себё г. Мерзляковь; отъ-того, можеть быть, и ошибается онь въ своемъ мивніи о началь трагедіи и вообще о достоинстві поэзіи. Вся философія Гомера заключается, кажется, въ ясной простотів его разсказовь и въ совершенной искренности его чувствъ. Въ немъ, какъ въ безоблачномъ возрасті младенчества, ніть усилій ума, піть опреділеннаго стремленія; но везді видно вітрное

созерцаніе окружающаго міра, вездів слабыя, но пророческія предчувствія высоких в истинь. Воть характеръ Гомеровых поэмь; онів духомь близки къ счастливому времени, въ которомь мысли и чувства соединялись въ одной очаровательной области, заключающей въ себів вселенную; къ тому времени, въ которомь философія и всів искусства, тісно связанныя между собою, изъ общаго источника разливали дары свои на смертных волшебная сила гармоніи, воздвигая стівны и образуя общества, въ мірных втонах преподавала человічеству простые, но безсмертные законы.

Слабость доводовъ г. Мерзлякова обнаруживается еще болве, когда онъ принаравливаетъ свою теорію къ характеру трехъ трагиковъ. Тутъ тщетно играетъ его воображение; онъ теряется въ лабиринтъ мелочныхъ мыслей, и часто противоръчитъ даже доказательствамъ исторіи и неоспоримой очевидности. Предложимъ котя одинъ примъръ. Г. Мерзляковъ, говоря объ Эврипидъ, объясняется слъдующими словами: "иногда на сценъ его являлись государи, униженные судьбою до последней крайности, покрытые рубищами и просящіе подаянія на стогнахъ града. Сін картины, чуждыя Эсхилу и Софоклу, сначала вскружили умы". Но это положение совершенно принадлежить Эдипу Колонейскому и, следственно, не могло быть чуждымъ Софоклу и составить отличительную черту въ характеръ Эврипида. Г. Мерзляковъ говорить далье, что онъ имълъ много почитателей, какъ философъ. Мнъ кажется, что туть смешана схоластика съ философіею. Оне имели совсемь различный ходъ и разное вліяніе. Конечно, схоластика всегда влачилась по стопамъ философіи, но никогда не досягала возвышенныхъ ел понятій и терялась обыкновенно въ случайныхъ примъненіяхъ, распложаясь въ сентенціяхъ и притчахъ. Удивительно ли, что многія частныя секты были защитниками Эврипидовыхъ трагедій, когда онъ всъ носять печать школы; но въ глазахъ литератора-философа это не достоинство. Творенія Эврипида не отражають души его; въ нихъ нътъ этого совершеннаго согласія между идеаломъ и формою, которое такъ плъняетъ воображеніе въ Эдипъ Колонейскомъ и вообще въ трагедіяхъ Софокла. Въ самыхъ пламенныхъ изліяніяхъ его чувствъ невольно подозръваешь его искренность.

Не буду далье распространяться, чтобы не утомить читателей излишними подробностями. Отдавая имъ на судъ мои замьчанія на главныя предложенія г. Мерзлякова, предоставляю имъ рышить: справедливы ли онь, или нытъ. Во всякомъ случаь, любопытные могуть примынить ты мнынія, которыя имъ покажутся болье опредыленными, къ характеру каждаго изъ трагиковь, и такимъ образомъ оцынить статью г. Мерзлякова во всыхъ ея частяхъ. Многіе замытять, можеть быть, что и часто не высказываль своихъ мыслей и въ самыхъ любопытныхъ вопросахъ налагаль на нихъ оковы. Я это дылаль потому, что понятія, мною кое-гды изложенныя, требуютъ подробнаго развитія и постоянной нити въ разсужденіи, чего не позволяеть форма критической статьи, въ которой рецензенть дылается во многихъ отношеніяхъ рабомъ разбираемаго имъ сочиненія.

Въ дополнение въ рецензии моей на разсуждение г. Мерзлякова, скажу, что еслибъ оно появилось за нъсколько лътъ передъ симъ, то безспорно бы имъло успъшное вліяніе; но теперь уже можно требовать отъ литератора болье самостоятельности. Слъды французскихъ сужденій исчезають въ нашихъ теоріяхъ, и Россія можетъ назвать нъсколько сочиненій въ семъ родъ, по всему праву ей принадлежащихъ. Между

ними заслуживаетъ особеннаго вниманія Амалтея г. Кронеберга, харьковскаго профессора. Въ сей книгѣ не должно искать теоретической полноты и порядка; но въ ней заключаются ясныя понятія о поэзіи, и она доказываетъ, что авторъ искренно посвятилъ себя изящнымъ наукамъ и слѣдуетъ за ихъ успѣхами.

Скажемъ нѣсколько словъ о переводахъ г. Мерзлякова. Они представляють обильную жатву для того, кто бы захотѣлъ разсмотрѣть подробно ихъ красоты. Мы съ особеннымъ удовольствіемъ прочли послѣднюю рѣчь Алцесты, разговоръ Ифигеніи съ Орестомъ, пророчество Кассандры и превосходный отрывокъ изъ Одиссеи. Вездѣ видны духъ пламенный и языкъ выразительный. Хоры г. Мерзлякова исполнены лирическаго огня. Но вообще въ слогѣ его можно бы желать болѣе гибкости и легкости, въ стихахъ болѣе отдѣлки; напримѣръ, Тезей говоритъ Антигонѣ и Исменъ:

Утъшьтесь нъжны дщери, Страдальну наконецъ въ покой отверсты двери.

Здёсь слово: покой представляеть явное двусмысліе. Еще можно замётить, что г. Мерзляковь, вопреки тирану— употребленію, часто въ стихахъ своихъ вызываеть изъ пыльной старины выраженія, обреченныя, кажется, забвенію; конечно чрезъ такое приращеніе языкъ его не бёднёеть, не теряеть своей силы; но онъ не имёеть, совершенной плавности, необходимой въ нашемъ вёкъ, какъ счастливъйшей приманки для читателей. Этого нельзя сказать о его прозъ, которая всегда останется увлекательною.

Я кончаю такъ, какъ началъ, увъряя читателей, что одна любовь къ наукъ заставила меня возстать противъ миз-

ній г. Мерзлякова. Я увъренъ, что если критика моя дойдетъ до него, онъ самъ оправдаетъ въ ней пе крайней мъръ намъреніе, съ которымъ я вооружился противъ собственнаго удовольствія, невольно ощущаемаго при чтеніи такого разсужденія, гдъ кисть искусная умъла соединить силу выраженія со всею прелестію разнообразія.

Amicus Plato, sed magis amica veritas.

ANALYSE D'UNE SCÈNE DÉTACHÉE DE LA TRAGÉDIE DE MR. POUCHKIN,

insérée dans un Journal de Moscou (Московскій Въстникъ) *.

De nouveaux éloges ne pourraient rien ajouter à la réputation de Mr. Pouchkin. Depuis longtems ses productions, qui décélent toutes un talent aussi varié que fécond, font le charme du public russe. Mais quelque brillans qu'aient été jusqu'à ce jour ses droits à la gloire, les vrais amis de la littérature nationale le voyaient à regrêt suivre dans tous ses ouvrages une impulsion étrangère et sacrifier la vocation de poëte original à son admiration pour le Barde Anglais, qui s'offrait à ses yeux comme le génie poétique de

^{* «}Разборъ отрывка изъ трагедіи г. Пушкина, напечатаннаго въ Московскомъ Вѣстникѣ.»

[«]Новыя похвалы ничего не могуть прибавить въ извъстности г. Пушкина. Его твореніями, которыя, всѣ, обнаруживають таланть разнообразный и плодовитый, давно восхищается русская щублика. Но котя и блистательны успѣхи этого поэта, котя и неоспоримы его права на славу, — все же истинные друзья русской литературы, съ сожальніемь, замѣчали, что онъ, во всѣхъ своихъ произведеніяхъ, до сихъ поръ, слѣдоваль постороннему вліянію, жертвуя своею оригинальностью — удивленію въ англійскому барду, въ которомъ видѣлъ поэтическій геній нашего времени. Такой упрекъ, столь лестный для г. Пушкина, несправедливъ однако въ одномъ отношеніи. При развитіи поэта (какъ вообще при всякомъ нрав-

notre siécle. Ce reproche, si flatteur pour Mr. Pouchkin, est cependant injuste sous un rapport. Il en est de l'éducation du poëte comme de tout développement moral: il faut que l'influence d'une force déja mûre lui donne d'abord la conscience de toutes les impulsion dont il est susceptible, pour mettre en mouvement tous les ressorts de son âme et réveiller ainsi sa propre énergie. Une première impulsion ne détermine pas toujours la tendance du génie; mais c'est à elle qu'il doit son élan, et sous ce rapport Byron a été pour Pouchkin ce que les circonstances d'une vie orageuse ont été pour Byron lui-même. Aujourd'hui l'éducation poétique de Mr. Pouchkin semble être entièrement terminée: l'indépendance de son talent est un sûr garant de sa maturité, et sa Muse, qui ne s'était montrée à nous que sous les

ственномъ развитіи) необходимо, чтобы воздійствіе уже зрівлой силы обнаружило предъ нимъ самимъ: какимъ возбужденіямъ онъ доступенъ. Тавимь образомь, приведутся въ дъйствіе всё пружины его души и подстрекнется его собственная энергія. Первый толчекъ не всегда рышаеть направленіе духа, но онъ сообщаеть ему полеть и, въ этомъ отношеніи, Байронь быль для Пушкина тёмь же, чёмь были для самаго Байрона приключенія его бурной жизни. Нынъ поэтическое воспитание г. Пушкина, повидимому, совершенно окончено. Независимость его таланта-върная порука его зрълости, и его муза, являвшаяся досель лишь въ очаровательномъ образь Грацій, принимаетъ двойной характеръ Мельпомены и Кліо. Давно уже ходили слухи о его последнемъ произведении: «Борисъ Годуновъ,» и вотъ новый журналь (Московскій Вістникь) предлагаеть намь одну сцену изъ этой исторической драмы, извёстной въ цёломъ лишь нёсколькимъ друзьямъ поэта. Эпоха, изъ которой почерпнуто ея дъйствіе, уже была, съ изумительнымъ талантомъ, изображена знаменитымъ историкомъ, котораго потерю долго будеть оплакивать Россія, и мы не можемь отказаться оть убъжденія, что трудъ Карамзина былъ для г. Пушкина богатымъ источникомъ драгоцвиныхъ матеріаловъ. Кто изъ друзей литературы не заинтересуется тамъ, какъ эти два генія, точно изъ соревнованія, рисують намъ одну и туже картину, но въ различныхъ рамкахъ и каждый съ своей точки эрвнія. Все, что мы могли узнать о трагедін г. Пушкина, заставляєть насъ думать

traits enchanteurs des Graces, vient de prendre le double caractère de Melpomène et de Clio. Depuis longtemps, nous avons entendu parler de sa dernière production: Boris Godounoff, et un nouveau journal (Московскій Въстникъ) vient de nous offrir une scène de ce Drame historique, qui n'est connu en entier que de quelques amis du Poëte. L'époque, à laquelle il se rattache, nous a déjà été présentée avec untalent admirable par le célèbre historien, dont la Russie regrettera longtemps la perte, nous ne pouvons nous empêcher de croire que l'ouvrage de Mr. Karamzine ait été pour Mr. Pouchkin une source bien riche des détails les plus précieux. Quel est l'ami de la littérature qui verra sans intérêt ces deux génies, pour ainsi dire aux prises, développer le même tableau, chacun selon son point de vue et dans un

что если - съ одной стороны - историкъ, смелостью колорита, возвысился до эпонеи, - то поэть, въ свою очередь, внесъ въ свое твореніе величавую строгость исторіи. Говорять, что трагедія обнимаеть все царствованіе Годунова, кончается лишь со смертью его сыновей и развертываеть всю ткань событій, которыя привели къ одной изъ самыхъ необычайныхъ катастрофъ, когда либо случавшихся въ Россіи. При исполненіи такой обширной программы, г. Пушкинъ былъ, разумъется, вынужденъ обходить законы трежь единствъ. Во всякомъ случав, отрывокъ, который у насъ передъ главами, достаточно удостовъряетъ, что ежели поэтъ и препебрегъ изкоторыми произвольными требованіями касательно формы, то быль темь болье върепъ непреложнымъ и существеннымъ законамъ поэзіи и не отступаль отъ правдополобія, которое является результатомъ той добросов'єстной смілости, съ какою поэть воспроизводить свои вдохновенія. Эта сцена, съ своей поразительной простотой и энергіей, можеть быть смёло поставлена наряду со всемъ, что есть лучшаго у Шекспира и Гёте. Личность поэта не выступаеть ни на одну минуту: все делается такъ, какъ требують духъ въка и характеры дъйствующихъ лицъ. Названная сцена слъдуетъ непосредственно за избраніемъ Годунова и представить контрасть, по истипъ драматическій, съ предъидущими сценами, въ которыхъ поэтъ воспроизведеть намъ тъ шумныя движенія, которыя должны были сопровождать въ столицъ столь важное для государства событіс. Читатель перепосится

cadre différent. Tout ce que nous avons pu apprendre sur la tragédie de Mr. Pouchkin nous autorise à croire, que si d'un cotè l'historien s'est élevé, par la hardiesse de son coloris, à la hauteur de l'épopée, le poëte à son tour a transporté dans sa production l'imposante sévérité de l'histoire. On dit que sa tragédie embrasse toute l'époque du régne de Godounoff, ne se termine qu'à la mort de ses enfans et déroule toute la chaine des évènemens, qui ont amené l'une des catastrophes les plus extraordinaires, dont la Russie ait jamais été le théatre. Un cadre aussi vaste aura certainement obligé Mr. Pouchkin de se soustraire à cette régularité qu'imposent les lois dérivées du principe des trois unités. Toutefois la scéne, que nous avons sous les yeux, nous prouve suffisament, que s'il a négligé dans ses formes quel-

Какъ хорошъ контрасть этой пылкой души съ величавниъ спокойствіенъ

въ келью одного изъ тахъ монаховъ, которымъ мы одолжены нашими летописями. Рачь старика дышеть тамъ величавымъ спокойствиемъ, которос неразлучно съ самымъ представленіемъ объ этихъ людяхъ, удалившихся отъ міра, чуждыхъ страстямъ, живущихъ въ прошедшемъ, — чтобы ово черезъ нихъ, говорило будущему. Старикъ бодрствуетъ при свъть даипады и невольное раздумье, при воспоминаніи объ ужасномъ злодійстві, останавливаеть его въ минуту, когда онъ доканчиваеть свою летопись. Онъ, однако, обязанъ довести до потомства сказаніе о злодійствів и снова берется за перо. Вдругь просыпается Григорій, - послушникь, находящійся у него подъ руководствомъ. Григорія преслідуеть сонъ, который, въ главахъ суевърія, показался бы предвъщаніемъ бурной будущности и въ которомъ разумъ видитъ лишь неопредбленное проявление честолюбія, которому еще нътъ простора. Діалогъ раскрываеть, съ первыхъ словъ, противоноложность между двумя характерами, такъ смёло и глубоко задуманными. Вы слышите разсказъ объ убіеніи отрока Димитрія и уже угадываете необыкновеннаго человъка, который скоро потрясеть всю Россію, воспользовавшись именемъ несчастнаго царевича. Жажда смёлыхъ предпріятій, порывистыя страсти, которыя со временемъ развернутся въ душъ Григорія Отрепьева, — все это, съ поразительной правдой, рисуется въ словаъ его, обращенныхъ къ летописцу. (следуетъ выписка)

ques règles arbitraires, il n'en a été que plus fidèle aux lois immuables et fondamentales de la poésie et à ce caractère de vraissemblance, qui doit être le résultat de la consciencieuse franchise avec laquelle le poëte reproduit ses inspirations. Cette scène frappante de simplicité et d'énergie, peut être placée sans crainte au rang de tout ce que le théatre de Shakespeare et de Goethé nous offre de plus parfait. L'individualité du poëte ne s'y montre pas un moment: tout appartient à l'esprit du tems et au caractère des personnages. Elle vient immédiatement après l'élection de Boris au trône et doit offrir un contraste vraiment théatral avec les scénes précédentes où le poëte aura reproduit le grand mouvement, qui doit accompagner dans la capitale un évènement aussi important pour le pays entier. Le lecteur est

старца, безстрастнаго наблюдателя добродѣтелей и преступленій своихъ согражданъ, — старца, внушительный взглядъ котораго производить такое живое впечатлѣніе на молодаго собесѣдника! (слѣдуетъ вторая выписка)

⁻ Стихи, приведенные нами, совсёмъ не лучше остальныхъ въ этомъ дивномъ драматическомъ отрывев, где красота частностей теряется, такъ сказать, въ красотъ цълаго; гдъ античная простота является рядомъ съ гармоніей и вірностью выраженія — отличительными качествами стиховъ г. Пушкина. Некоторые читатели, быть можеть, напрасно стануть искать въ этомъ отрывив той свежести стиля, которая видна въ другихъ произведеніяхъ того же автора. Но изящество, въ современномъ вкусь, служащее въ украшенію поэмъ не столь возвышеннаго рода, только обезобразило бы драму, гдв поэтъ ускользаеть отъ нашего вниманія, чтобы темъ полите направить его на изображаемыя лица. Здёсь видимъ мы торжество искусства и полагаемъ, что этого торжества г. Пушкинъ достигъ вполить. Къ темъ похваламъ, которыя намъ внушены вполить законнымъ удивленіемъ, прибавимъ еще желаніе, — чтобы вся трагедія г. Пушкина соответствовала отрывку, съ которымъ мы познакомились. Тогда не только русская литература сделаеть безсмертное пріобретеніе, но летописи трагической музы обогатятся образцовымъ произведениемъ, которое станетъ наряду со всёмъ, что только есть прекраснейшаго, въ этомъ роде, на языкахъ древнихъ и новыхъ.»

transporté dans la cellule de l'un de ces moines, auxquels nous devons nos annales. Le calme imposant qu'on-ne saurait séparer de l'idée de ces hommes, qui, éloignés du monde, étrangers à ses passions, vivaient dans le passé pour s'en constituer l'organe dans l'avenir, caractérise le discours du vieillard. Il veille à la lueur de sa lampe, et une méditation involontaire, un souvenir d'un crime atroce l'arrète au moment où il va terminer sa chronique. Il doit cependant ce récit à la postérité; il reprend sa plume. Dans ce mème moment Grégoire, dont il guide les années de noviciat, s'éveille brusquement, poursuivi par un songe, qui serait aux yeux de la superstition le présage d'une destinée orageuse et à ceux de la raison l'expression vague d'une ambition encore comprimée. La dialogue, qui décèle dès les premières paroles l'opposition de ces deux caractères, conçus avec hardiesse et profondeur, amène le récit de l'assasinat du jeune Dmitri et fait deviner déja l'homme extraordinaire, qui se servira bientôt du nom de cet infortuné pour bouleverser la Russie. Le besoin d'entreprises hardies, les passions fougueuses, qui doivent se développer plus tard dans le coeur de Grégoire Otrépieff, nous sont présentées avec une vérité admirable dans le discours qu'il tient au vieil annaliste:

Какъ весело провель свою ты младость! Ты воеваль подъ башнями Казани, Ты рать Литвы при Шуйскомъ отражаль, Ты видъль дворъ и роскошь Іоанна. Счастливъ!... А я отъ отроческихъ лътъ По келіямъ скитаюсь бъдный инокъ. — Зачъмъ и мнъ не тъщиться въ бояхъ, Не пировать за царскою трапезой?

Qu'il est beau le contraste de cette âme ardente-avec

le calme majestueux du vieillard, impassible témoin des vertus et des crimes de ses compatrietes, de ce vieillard dont l'air imposant produit une si vive impression sur son jeune interlocuteur!

Ни на челѣ высокомъ, ни во взорахъ Нельзя прочесть его высокихъ думъ — Все тотъ же видъ смиренний, величавый. Такъ точно дьякъ, въ приказахъ посѣдѣлый. Спокойно зритъ на правыхъ и виновныхъ, Добру и злу внимая равнодушно, Не вѣдая ни жалости, ни гнѣва. —

Les vers que nous venons de rapporter ne sont pas supérieurs au reste de cet admirable fragment dramatique, où les beautés des details se perdent pour ainsi dire dans la beauté de l'ensemble. Un caractère de simplicité vraiment antique y régne à coté de l'harmonie et de la justesse d'expressions, qui distinguent particulièrement les vers de Mr. Pouchkin. Quelques lecteurs y chercheront peut être en vain cette fraicheur de style, répandue sur d'autres productions du mème auteur; mais l'élégance moderne, qui ajoutait au mérite de poëmes d'un genre moins élevé, n'aurait pu que déparer un drame, où le poëte se dérobe à notre attention, pour la porter tout entière sur les personnages qu'il met en scène. C'est là, qu'est le triomphe de l'art, et nous pensons que Mr. Pouchkin l'a obtenu d'une manière incontestable. Ajoutons un voeu à tous ces éloges, que nous dicte une juste admiration, et souhaitons, que toute la tragédie réponde au fragment que nous-avons eu sous les veux! Dès lors la littérature russe aura non seulement fait une acquisition immortelle: mais elle aura enrichi les annales de la Muse tragique d'un chef-d'oeuvre, qui pourra être placé à coté de ce que toutes les langues anciennes et modernes offrent de plus beau en ce genre.

РАЗБОРЪ СТАТЬИ О ЕВГЕНІЪ ОНЪГИНЪ, помъщенной въ 5-мъ № Московскаго Телеграфа на 1825 годъ *.

Если талантъ всегда находитъ въ себъ самомъ мърило своихъ чувствованій, своихъ впечатльній, если удъль его—попирать обыкновенные предразсудки толиы, односторонней въ сужденіяхъ, и чувствовать живъе другаго творческую силу тъхъ ръдкихъ сыновъ природы, на воихъ геній положиль свою печать, то какою бы мыслію пораженъ быль Пушкинъ, прочитавъ въ Телеграфъ статью о новой поэмъ своей, гдъ онъ представленъ не въ сравненіи съ самимъ собою, не въ отношеніи къ своей цъли, но върнымъ товарищемъ Байрона на поприщъ всемірной словесности, стоя съ нимъ на одной точкъ ?

Московскій Телеграфъ имветь такое число читателей и въ немъ встрычаются статьи столь любопытныя, что всякое несправедливое мивніе, въ пемъ провозглашаемое, должно необходимо имвть вліяніе на сужденіе, если не всёхъ, то по крайней мъръ многихъ. Въ такомъ случав, обязанность всякаго благонамвреннаго человъка — замътить погрышности издателя, и противиться, сколько возможно, потоку заблужденій. Я увърень, что г. Полевой не оскорбится критикою, написанною съ такою цёлію: онъ въ душъ сознается, что, при разборъ

^{*} И Веневитиновъ и Полевой, его противникъ, вездъ пишутъ: Бейронъ виъсте: Байронъ. Мы позволили себъ нарушить здъсь археологическую точность, печатая имя англійскаго поэта такъ, какъ его пишутъ и говорятъ теперь.

А. П. •

Онъгина, перомъ его, можетъ быть, управляло отчасти и желаніе обогатить свой журналь произведеніями Пушкина, (желаніе впрочемъ похвальное и раздъляемое, безъ сомнънія, всъми читателями Телеграфа).

И можно ли бороться съ духомъ времени? Онъ всегда остается непобъдимымъ, торжествуя надъ всъми усиліями, отягощая своими оковами мысли даже тъхъ, которые, не задолго передъсимъ, клялись быть върными поборниками безпристрастія!

Первая ошибка г. Полеваго состоить, мнѣ кажется, вътомъ, что онъ полагаеть возвысить достоинство Пушкина, унижая до чрезмърности критиковъ нашей словесности. Это ошибка противъ разсчетливости самой обыкновенной, противъ политики общежитія, которая предписываеть всегда предполагать въ другихъ сколько можно болѣе ума. Трудно ли бороться съ такими противниками, которыхъ заставляешь говорить безъ смысла? Признаюсь, торжество незавидное. Послушаемъ критиковъ, вымышленныхъ въ Телеграфѣ.

"Что такое Онвгинъ?" спрашивають они: "что за поэма, въ которой есть главы, какъ въ книгв и проч.?"

Никто, кажется, не дълалъ и въроятно не сдълаетъ такого вопроса; и до сихъ поръ, кромъ издателя Телеграфа, никакой литераторъ еще не догадался замътить различіе между поэмою и книгою.

Отвътъ стоитъ вопроса.

"Онъгинъ," отвъчаетъ защитникъ Пушкина: "романъ въ стихахъ, слъдовательно, въ романъ позволяется употребить раздъление на главы и проч."

Если г. Полевой позволяеть себѣ такого рода заключеніе, то не въ правѣ ли я буду, такимъ же образомъ, заключить въ противность, и сказать: "Онъгинъ романъ въ стихахъ; слъдовательно, въ стихахъ не позволительно употребить раздъление на главы," но наши смълые силлогизмы ничего не доказываютъ ни въ пользу Онъгина, ни противъ него, и лучше предоставить г. Пушкину оправдать самимъ сочинениемъ употребленное имъ раз дъление.

Оставинъ мелочной разборъ каждаго періода. Въ статьъ, въ которой авторъ не предположилъ себъ одной цъли, въ которой онъ разсуждалъ, не опираясь на одну основную мысль, какъ не встръчать погръшностей такого рода? Мы будемъ говорить о тъхъ только ошибкахъ, которыя могутъ распространять ложныя понятія о Пушкинъ и вообще о поэзіи.

Кто отказываетъ Пушкину въ истинномъ талантъ ? Кто не восхищался его стихами? Кто не сознается, что онъ подарилъ нашу словесность прелестными произведеніями? Но для чего же всегда сравнивать его съ Байрономъ, съ поэтомъ, который, духомъ, принадлежа не одной Англіи, а нашему времени, въ пламенной душъ своей сосредоточилъ стремленіе цълаго въка, и, еслибъ могъ изгладиться въ исторіи частнаго рода поэзіи, то въчно остался бы въ лътописяхъ ума человъческаго?

Всё произведенія Байрона носять отпечатокь одной глубокой мысли, — мысли о человёке, въ отношеніи къ окружающей его природе, въ борьбе съ самимъ собою, съ предразсудками, врезавшимися въ его сердце, въ противоречіи съ своими чувствами. Говорять: въ его поэмахъ мало действія. Правда — его цель не разсказъ; характеръ его героевъ не связь описаній; онъ описываеть предметы не для предметовъ самихъ, не для того, чтобы представить ралъ картинъ, но съ намъреніемъ выразить впечатлівнія ихъ на лицо, выставленное имъ на сцену. — Мысль истинно піитическая, творческая.

Теперь г. издатель Телеграфа, повторю вамъ вопросъ: что такое Онъгинъ? Онъ вамъ знакомъ, вы его любите. Такъ! но этотъ герой поэмы Пушкина, по собственнымъ словамъ вашимъ, "шалунъ съ умомъ, вътренникъ съ сердцемъ," и ничего болъе. Я сужу также, какъ вы, т. е. по одной первой главъ; мы, можетъ быть, оба ошибемся, и оправдаемъ осторожность опытнаго критика, который, опасаясь попастъ въ "кривотолки," не захотълъ произнесть преждевременно своего сужденія.

Теперь, позвольте спросить: что вы называете "новыми пріобрътеніями Байроновъ и Пушкиныхъ 9" Байрономъ гордится новъйшая поэзія, и я, въ нъсколькихъ строчкахъ, уже старался заметить вамъ, что характеръ его произведеній истинно новый. Не будемъ оспаривать у него-славы изобрвтателя. Певецъ Руслана и Людмилы, Кавказскаго пленника и проч. имъетъ неоспоримыя права на благодарность своихъ соотечественниковъ, обогативъ русскую словесность красотами, доселъ ей неизвъстными, -- но, признаюсь вамъ и самому нашему поэту, что я не вижу въ его твореніяхъ пріобретеній, подобныхъ Байроновымъ, "дълающихъ честь въку". Лира Альбіона познакомила насъ со звуками, для насъ совсемъ новыми. Конечно, въ въкъ Дюдовика XIV, никто бы не написалъ и поэмъ Пушкина; но это доказываетъ не то, что онъ подвинуль въкъ, но то, что онъ отъ него не отсталъ. Многіе критики, говорить г. Полевой, увъряють, что Кавказскій пленникъ, Бахчисарайскій фонтанъ, вообще взяты изъ Байрона. Мы не утверждаемъ такъ опредълительно, чтобъ нашъ стихотворецъ заимствовалъ изъ Вайрона планы ноэмъ, характеры лицъ, описанія; но скаженъ только, что Вайронъ оставляеть въ его сердцѣ глубокія внечатлѣнія, которыя отражаются во всѣхъ его твореніяхъ. Я говорю скѣло о г. Пушкинѣ; ибо онъ стоитъ между нашими стихотворцами на такой степени, гдѣ правда уже не колетъ глазъ.

И г. Полевой платить дань нынёшней модё. Въ статъй о словесности, какъ не задёть Баттё? Но великодушно ли пользоваться превосходствомъ вёка своего для униженія старыхъ Аристарховъ? Не лучше ли не нарушать покоя усоншихъ? Мы всё знаемъ, что они имёють достоинство только относительное; но если вооружаться противъ предразсудковъ, то не полезнёе ли преслёдовать ихъ въ живыхъ? и кто отъ нихъ свободенъ? Въ наше время не судять о стихотворцё по пінтикѣ, не имёють условнаго числа правилъ, по которымъ опредёляють степени изящныхъ произведеній. — Правда. Но отсутствіе правилъ въ сужденіи не есть ли также предразсудокъ? Не забываемъ ли мы, что въ критикѣ должно быть основаніе положительное, что всякая наука положительная заимствуеть свою силу изъ философій, что и поэзія неразлучна съ философій?

Если мы съ такой точки зрвнія, безпристраєтнымъ взглядомъ, окинемъ ходъ просвіщенія у всіхъ народовъ (оціняя словесность каждаго въ ціломъ: степенью философіи времени; а въ частяхъ: по отношеніямъ мыслей каждаго писателя къ современнымъ понятіямъ о философіи); то все, мивкажется, пояснится. Аристотель не потеряетъ правъ своихъ на глубокомысліе, и мы не будемъ удивляться, что французы, подчинившіеся его правиламъ, не имъютъ литературы самостоятельной. Тогда мы будемъ судить по правиламъ вірнымъ о словесности новъйшихъ временъ; тогда причина романтической поэзіи не будетъ заключаться въ неопредъленномъ состояніи сердца.

Мы видъли, какъ издатель Телеграфа судить о поэзіи: послушаемъ его, когда онъ говорить о живописи и музыкъ, сравнивая художника съ поэтомъ.

"Въ очеркахъ Рафаэля виденъ художникъ, способний къ великому: его воля приняться за кисть — и великое изумитъ ваши взоры; не хочетъ онъ — и никакія угрозы критика не заставятъ его писать, что хотять другіе." Далье:

"Въ музывъ есть особый родъ произведеній, называемыхъ саргіссіо— и въ поэзіи есть они. Таковъ Онъгинъ."

Какъ! въ очеркахъ Рафаэли вы видите одну только способность къ великому? Надобно ему приняться за кисть и окончить картину — для того, чтобъ васъ изущить? Теперь не удивляюсь, что Онъгинъ вамъ нравится, какъ рядъ картинъ; а мнъ кажется, что первое достоинство всякаго ходожника есть сила мысли, сила чувствъ; и эта сила обнаруживается во всъхъ очеркахъ Рафаэля, въ которыхъ уже виденъ идеалъ художника и объемъ предмета. Конечно и колоритъ, необходимый для подробнаго выраженія чувствъ, содъйствуетъ красотъ, гармоніи цълаго; но онъ только распространяетъ мысль главную, всегда отражающуюся въ характеръ лицъ и въ ихъ расположеніи. И что за сравненіе поэмы эпической — съ картиною, и Онъгина — съ очеркомъ?

"Не хочеть онъ, и никакія угрозы критика не заставять его писать, что хотять другіе".

Уже ли Рафаэль съ г. Пушкинымъ исключительно пользуются правомъ не подчиняться волё и угрозамъ критиковъ своихъ? Вы сами, г. Полевой, отъ этаго права не откажетесь,

н напримъръ, если не захотите согласиться со мною на счеть замъченныхъ мною ошибокъ, то върно угрозы васъ къ тому не принудятъ.

Въ особомъ родъ музыкальныхъ сочиненій, называемомъ сарргіссіо, есть также постоянное правило. Въ сарргіссіо, какъ и во всякомъ произведеніи музыкальномъ, должна заключаться полная мысль, безъ чего и искусства существовать не могутъ. — Таковъ Онъгинъ? — Не знаю, и повторяю вамъ: мы не имъемъ права судить о немъ, не прочитавши всего романа.

Посл'в вс'яхъ громкихъ похвалъ, которыми издатель Телеграфа осыпаетъ Пушкина, и которыя, впрочемъ, для самаго поэта едва ли не опасн'ве безмолвныхъ громовъ, кто ожидалъ бы найти въ той же стать'в:

"Вътакомъ же положени, какъ Байронъ къ Попе, Пушкинъ находится къ прежнимъ сочинителямъ шуточныхъ русскихъ поэмъ".

Не надобно забывать, что на предъидущей страницъ г. Полевой говорить, что у насъ "въ семъ родъ не было ничего сколько нибудь сноснаго" *). Мы напомнимъ ему о "Модной женъ" И. И. Дмитріева и о "Душенькъ" Богдановича.

Нѣсколько словъ о народности, которую издатель Телеграфа находить въ первой главъ Онъгина. "Мы видимъ",

^{*)} Г. издатель Телеграфа! Позвольте мит, для ясности, привести уравненіе двухъ предполагаемыхъ вами отношеній въ принятую форму. Мы назовемъ буквою х сумму встхъ неизвъстныхъ, по митнію вашему, русскихъ писателей шуточныхъ поэмъ — и скажемъ:

Байронъ: Попе = Пушкинъ: к.

Замѣтимъ, что здѣсь к не искомый, что даже трудно его выразить въ математикѣ; потому что, если лучше совсѣмъ не писать, нежели писать дурно, то х будетъ менѣе нуля. — Теперь, какъ нравится вамъ второе отношеніе пашей пропорціи?

Прим. В—ва.

говорить онъ: "слышить редныя поговорки, смотримъ на свои причуды, которыхъ всё мы не чужды были нёкогда". Я не знаю, что туть народнаго, кромё именъ петербургскихъ улицъ и ресторацій. — И во Франціи, и въ Англіи, пробки хлопають въ потолокъ, охотники ёздять въ театры и на балы. — Нётъ, г. издатель Телеграфа! Приписывать Пушкину лишнее, — значить отнимать у него то, что истинно ему принадлежить. Въ Русланъ и Людмилъ онъ доказаль намъ, что можеть быть поэтомъ напіональнымъ.

-До сихъ поръ, г. Полевой говорилъ рѣшительно; безъ всякаго затрудненія опредълиль степень достоинства булушаго романа Онъгина. Его рецензія, сама собою и, кажется, безъ въдома автора лилась съ пера его; -- но вотъ камень преткновенія. Порывъ его остановился: — "Для рецензента стихотвореній Пушкина, гдф взять ошибокъ" ? Милостивый Государь! Півлое произведеніе можеть иногда быть одною ошибкою: я не говорю этого на счеть Онвгина, но для того только, чтобы уверить вась, что и ошибки определяются въ отношени въ цълому. Впрочемъ, будемъ справедливнии: и въ напечатанной главъ Онъгина, строгій вкусь замътить. можеть быть, несколько стиховь и отступленій, не совсемь соотвътствующихъ изящности поэзіи, всегда благородной, даже и въ шуткъ; касательно же выраженій, названныхъ вами неточными, я не во всемъ согласенъ съ вашимъ мнъніемъ: "вздыхаеть лира", въ поэзіи прекрасно; "возбуждать улыбку", хорошо и правильно, едва ли можно выразить мысль свою яснве. •

Мить остается заметить г. Полевому, что вместо того, чтобы съ такою решимостію заключать о романе по первой главе, которая имееть нечто целое, полное въ одномъ только отношеніи, т. е. какъ картина петербургской жизни, лучше бы было распространиться о разговоръ поэта съ книгопродавцемъ. — Въ словахъ поэта видна душа свободная, пылкая, способная къ сильнымъ порывамъ; — признаюсь, я нахожу въ этомъ разговоръ болъе истинной поэзіи, нежели въ самонъ Онъгинъ.

Я старался замітить, что поэты не летають безь ціли, и какь будто единственно на зло пінтикамъ; что поэзія не есть неопреділенная горячка ума; но, подобно предметамъ своимъ, природів и сердцу человіческому, имість въ себі самой постоянныя свои правила. Вниманіе наше обращалось то на разборъ издателя Телеграфа, то на самаго Онігина; теперь, что скажемъ въ заключеніе?

О стать в г. Полеваго, — что я желаль бы найти въ ней критику, болъе основанную на правилахъ положительныхъ, безъ коихъ всъ сужденія шатки и сбивчивы.

О новомъ романъ г. Пушкина, — что онъ есть новый прелестный цвътокъ на полъ нашей словесности, что въ немъ нъть описанія, въ которомъ бы не видна была искусная кисть, управляемая живымъ, ръзвымъ воображеніемъ: почти нъть стиха, который бы пе носилъ отпечатка или игриваго остроумія, или очаровательнаго таланта въ красотъ выраженія.

ОТВЪТЪ ПОЛЕВАГО ВЕНЕВИТИНОВУ*.

Прелесть новаго творенія Пункина, несправедивость наших журналистовъ, которые, воздавая неумфренныя похвалы своимъ содругамъ, съ хомодностью, мимоходомъ, упомянули объ изданіи Онфгина; желаніе показать читателямъ, какими причинами можно одравдать изданіе одной пфсин Онф-

^{*} Московскій Телеграфъ 1825 г. № XV; особенное прибавленіе. Мы перепечатываемъ этотъ отвётъ для улсненія спора, съ дипломатической точностью.

А. П.

гина и отвратить обвиненія въ подражаніи, чёмъ укоряють «нёкоторые» критики, и словесно и печатно нашего поэта, - воть что пуководствовало мною, когда я писаль небольшія, больше библіографическія, нежели критическія, замічанія на Онітина! Расположеніе и слоть монкь замічаній доказывають, что я не сочиняль полнаго и подробнаго разбора. Дозволивъ себъ шутки на счеть уклончивых критиковь, я слегка упомянуль о такъ называемой многими «романтической поэзін,» опреділиль сочиненіе Пушкина, представляя въ примъръ очеркъ живописца и особенный родъ музыкальныхъ произведеній, называемый саргіссіо; наконецъ говориль о содержанін и красотахъ поэмы. На мон замічанія отвічаль г. —въ *) строгими сужденіями въ № 8 Сына Отечества, призывая на помощь математику и что-то доказывая — «что-то» повторяю: прочитавъ несколько разъ статью г. -ва, я не могь добиться, чего онь точно хочеть. Я благодариль бы его за некоторый родь одобренія Телеграфу, ибо другіе журнальные критики безъ пощады бранять меня, и читая ихъ рецензів, право можно полумать, что Телеграфъ хуже покойнаго «Журнала для мижихъ.» г. —въ отдаетъ Телеграфу справедливость; но въ тоже время не унусваеть замётить, что я квалю Пушкина изъ корыстолюбивыхъ видовъ, стараясь получить отъ него стиховъ, что я представляю Пушкина товаришемъ Байрона и пр. и пр. Ла простить ему критика такія замінанія и прибавки. Пропустимъ мелочныя привязки и коснемся того, что онъ называеть «ошибками, которыя могуть распространять ложныя понятія о Пушкинъ и вообще о поэзін » г. —въ начинаеть восклицаніями: «кто отказываеть? Кто не восхищаяся? Кто не сознается (речь о Пушкина), что онъ «подариль нашу словесность прелестными произведеніями?» -- Во первыхъ: и в которые, къ счастію немногіе, думають о Пушкин в совстив нначе; во вторыхъ: принимаясь уличать другаго въ ошибкахъ и распространенів «ложных» понятій», не худо самому быть осторожнёе. г. -- въ, напримъръ, «одицетворяетъ словесность отдельно» и заставляетъ Пушкина дарить ее прелестными произведеніями.

Обозначивъ поэмы и стихи Пушкина прилагательнымъ — предестныя, онъ совсемъ не выразилъ характера его твореній и забывъ, что творенія Пушкина есть часть нашей словесности, напомниль мивтого русскаго прозанка, который, описывая вшествіе царя Михаила Өсодоровича въ Москву, говорить, что «Москва выбъжала къ нему на встрѣчу, поставила тронъ съ Царемъ себъ на голову — и внесла въ Кремлы!»

«Но для чего же всегда сравнивать его съ Байрономъ, съ поэтомъ, который, духомъ, принадлежа не одной Англіи, а нашему времени, въ пла-

^{*)} Статья Веневитинова была подписана двумя послёдними буквами его ммени.

А. П.

менной душь своей сосредоточиль стремление цылаго выка и еслыбь могь изгладиться въ исторіи частнаго рода поэзій, то вічно остался би въ льтописяхъ ума человъческаго?»--Но иля чего же обвинять меня въ томъ, чего я никогда не говориль? Я выше сказаль, и опять честь имъю повторить, что никогда не называль Пушкина равнымъ Байрону и не дълалъ ихъ общниками одинаковой славы! Для чего жъ опять, на зло грамматическому и логическому порядку, сочинять періодъ, въ которомъ нать связи? Посль словъ: «принадлежа не одной Англіи» въроятно г. —въ котвлъ сказать — «но целой Европе» ибо Англія и время не могуть быть равноположными понятіями. «Сосредоточить въ душѣ своей стремленіе цѣлаго вѣка» Байрону было также невозможно, нбо слово цёлый можеть относиться въ слову въкъ тогда, если мы примемъ его въ смыслъ стольтія. г. —въ върно жотёль сказать -- «соединиль (или положимь хоть сосредоточиль) наклонность своего въка» и здёсь можно бы понять, что Байронъ быль, такъ сказать, отпечатокъ нынфшняго времени. Наконецъ, изъ расположенія словъ: «еслибъ могъ изгладиться.... въ исторіи ноэзіи, то остался бы въ льтописяхъ ума» — выходитъ, что Байронъ тогда только остался бы въ льтописяхъ ума, когда изгладился бы въ исторіи поэзіи. Но исторія поэзіи разв'в не часть летописей ума человеческого? Разв'в Тредьяковскій можеть изгладиться въ сихъ летописяхь? Никогда! опъ будеть въ нихъ, какъ цамятникъ стремленія къ поэзін безъ таланта. Исторія поэзін повторить всв имена, только неравно о всёхъ отзовется. Наконецъ, что такое «частный родъ поэзін ?» — Г. —въ, желая придать своей стать видь порядка, опредъляеть потомъ характеръ Байрона какъ поэта: «Всв произведенія Байрона носять отпечатокъ одной тлубокой мысли о человъкъ въ отношении къ окружающей его природь, въ борьбь съ самимъ собою и съ предразсудками и въ противоръчіи съ своими чувствами.» Ансильопъ говорить, что въ твореніяхъ Гете отражается вся природа, въ твореніяхъ Шилдера отражается онъ самъ, и что отъ того происходитъ разнообразіе Гёте и односторонность Шиллера -- мысль попятна! Но какъ разгадать мысль г. -- ва? Если бы должно было выразить характеръ Байрона, то всего лучше, повторяю, можно назвать его творенія эмблемою нашего въка. Я очень понималь, что говорю, когда неопредёленнымь, неизъяснимымь состояніемь сердца человъческаго хотъль означить сущность и причину романтической поэзік. Байронъ изображаль не человѣка вообще: онъ изображаль непавистное чувство, охлаждавшее, мрачившее въ душв его всю вселенную, даже всякій идеаль. «Говорять: въ его поэмахь мадо действія. Правда: его цѣль не разсказъ; характеръ его героевъ не связь описаній.» Опять сопвчивость въ словахъ и понятіяхъ! Кто изъ поэтовъ имфлъ разскавъ, т. е. исполненіе поэмы, цёлью и даже кто изъ прозанковъ въ твореніи обширномъ? Въ Тристрамъ Шанди, гдъ, по видимому, все заключено въ разсказъ, разсказъ совствъ не цтль сочинения. Характеръ героевъ можно и не можно почесть связью описаній, но въ этомъ случай каждая поэма Байрона есть противоръчіе словамъ г. --- ва. «Онъ (Байронъ) описываетъ предметы не для предметовъ самихъ.... но съ намъреніемъ выразить внечатльнія ихъ на лицо, выставленное имъ на сцену.» Я не знаю ничего неопредъленнъе этихъ словъ т. -- ван И въ какихъ же поэтическихъ твореніяхъ, кром'я бездушной описательной поэзін, описываются предметы для предметовъ самихъ? Сін описанія всегда должны относиться въ впечатлівніямъ, сділаннымъ предметами на действующія лица поэмы; но съ другой стороны, кроме Чайльдъ-Гародьда и Шильонскаго узинка, где Байронъ описываль предметы единственно для описанія впечатабній на героя поэмы, гдв заметиль у него бездействіе г. —въ? Описавъ Байрона, г. —въ вдругь делаеть вопросъ : «теперь повторяю вамъ (т. е. мой) вопросъ: что такое Онъгинъ? Онъ вайъ внакомъ, вы его любите. Такъ! но этотъ герой поэмы Пушкина, по собственнымъ словамъ вашимъ, шалунъ съ умомъ, вътреннивъ съ сердцемъи ничего более?» Есть ли туть связь понятій? Описать характерь твореній Байрона и вдругь спрашивать: что такое Онфгинъ? Шалунъ, и ничего болье! Если бы г. - въ хотвлъ поддержать взведенное на меня мивніе, что я равняю Пушкина Байрону, онъ должень бы противопоставить напр. Донъ-Жуана Онфгину, а потомъ допрашивать меня: равняется ли произведеніе Пушкина Байронову, или описать характеръ Байроновой поэзік, противопоставить ей также характерь поэзін Пушкина и говорить о сравненін; а что выходить теперь изъ словъ г. -- ва?

Но точно, что-то подобное, какъ я предполагаю, имель въ виду г. -- въ. дълзя свой вопросъ. Заключаю изъ следующаго: «теперь, м. г., позвольте спросить: что вы называете новыми пріобретеніями Байроновъ и Пушжиныхъ?» Неужели изъ словъ моихъ выведено странное предположение, что я равняю Байрона Пушкину, предположение, на которомъ движется вся вритика г. —ва? Я сказаль, что Онегинь принадлежить въ тому самому роду, къ которому принадлежатъ поэмы Байрона и Гете; что поэму, подобную Донъ-Жуану и Беппо (прошу замътить), нельзя назвать ни эпическою, ни дидактическою, и прибавиль - «это уже дело колоднаго равсудка прінскивать на досугь: почему написанное не по извъстнымъ правиламъ хорошо и на всякій новый опыть поэзін прибирать ладь и міру. Не поэту же спрашивать у пінтиковъ: можно ли делать то или то! Его воображение летаетъ, не спрашиваясь пінтикъ; падаетъ онъ, тогда тор-- жествуйте побёду школьныхъ правиль; если же полеть его изумляеть сердца и души, дайте намъ насладиться новымъ торжествомъ ума человъческаго: всякое новое пріобрътеніе Байроновъ или Пушкиныхъ дълаеть и намъ честь, ибо делаеть честь етране, которой они принадлежать и веку, въ которомъ живутъ.» Надобно ли объясненіе, что имена Байрона и Пушкина, употребленныя мною въ множественномъ числь, есть тропъ, извыстный въ

Риторивъ подъ именемъ синевдохи, и что имена сін поставлены не для показанія равенства яхь, но какъ подлежащее къ сказуемому, т. е. къ новымъ пріобретеніямъ, которыя делаль Байронъ по своему, а Пушкинъ делаль, делаеть и будеть делать по своему? Г. —ве, и самь, говорить: «Байрономъ гордится новъйшая поэзія, характеръ его произведеній истиню новый.... Пушкинъ имъетъ неоспоримыя права на благодарность своихъ современниковъ, обогативъ Русскую словесность красотами доселъ (?) ей неизвъстными. У Красота дотолъ не извъстная въ нашей литературъ — развъ не пріобретеніе? Впрочемь здесь въ многословномъ изложеніц является настоящее мивніе г. — ва о Пушкинів: «Признаюсь, я не вижу въ его твореніяхъ пріобретеній, подобныхъ Байроновымъ, делающихъ честь веку.... П√шкинъ только не отсталъ отъ своего въка.... Мы не утверждаемъ опреавлительно, что нашъ стихотворенъ заимствовалъ изъ Байрона планы ноэмь, характеры лиць, описанія; но скажемь только, что Байронь оставдяеть въ его сердцъ глубокія впечатавнія, которыя отражаются во всехь его твореніяхъ. Я говорю сивло о г. Пушкинв.» Сивло: это правда, но не искренно. Для чего закрывать столькими словами мысль ясно видимую, состоящую въ томъ, что г. -- въ почитаетъ Пушкина не великимъ поэтомъ, а просто подражателемъ Байрона?*) Я сказалъ прежде, что въ Онегиев есть стихи, которыми одолжены мы памяти поэта, скажу, что и въ другихъ его поэмахъ такіе стихи попадаются; но пусть какъ угодно укоряють меня пристрастіемъ, а я не смотря на г. -- ва утверждаю, что въ Пушкинь видень свой собственный, великій таланть, что Пушкинь не подражатель, но творецъ: его собственныя незанятыя пріобратенія — описаніе русской старины въ Руслант и Людинит, Демонъ, прощание съ моремъ и множество другихъ превосходныхъ сочиненій, подобныхъ которымъ не нахопимъ ни у одного изъ современныхъ русскихъ поэтовъ; наконецъ, его повая, чудная поэма: Цыгане! Не желанье достать стиховъ Пушкина въ Телеграфъ, не жалкое подслуживанье Пушкину, внушаеть мив нохвалы, но чистое наслаждение его поэзіей. Странное діло, что сділалось съ критиками Сына Отечества: одинъ утверждаетъ, что у насъ есть поэты выше, гораздо выше Жуковскаго, другой винить Жуковскаго въ присвоеніи чужой собственности, а г. —въ силится доказать, что Пушкинъ подражатель! «На них» чужой успахь какь наша тягответь....»

«Что за сравненіе поэмы эпической съ картиною и Онегина съ очеркомъ?» Говоритъ г. —въ. Я сказаль, что въ очеркахъ Рафаэля виденъ ху-

^{*)} Обвиненіе это совершенно несправедливо, что ясно видно изъ статы Веневитинова о Бор. Годуновъ. Веневитиновъ всегда держался этого инънія о Пушкинъ.
Л. II.

дожникъ, способный къ великому. - «Какъ, говоритъ г. - въ, въ очеркахъ Рафазия вы видите только способность къ великому» — тутъ, опровергая мои слова, что художнику надо приняться за кисть и великое изумить наши взоры, г. —въ продолжаетъ — «а мив кажется, что первое достоинство великаго художника есть сила мысли, сила чувствъ.» Далъе онъ соглашается, что и колорить необходимь для подробнаго (?) выраженія чувствь, но что онъ только распространяеть мысль главную, всегда отражающуюся въ характеръ лицъ, въ ихъ расположении. Г. — въ, видя съ начала вопросъ: «Зачънъ Пушкинъ не пишетъ поэмъ въ силу правилъ эпопеи?» думаль, что слова мои объ очеркахъ относятся къ этому вопросу; но напрасно это показалось г. -ву! Вопрось ръщаль я, или, по крайней мъръ, казалось мив, что решаль, известнымь выражениемь нашего поэта, которое выразнать я въ прозъ такъ: «поэтъ не воленъ въ направлени своего восторга: что ему поется, то онъ и поеть.» Очеркъ употребиль я для сравненія живописи вообще съ поэзією, въ поэмахъ подобныхъ Донъ-Жуану, и туть понятіе объ очеркв ни мало не противорвчить моимъ словамъ; напр., въ разсуждени Онфгина, пусть г. - въ вообразить, что Рафаэль, рфшившись писать картину изъ многихъ лицъ, сделалъ очеркъ одной головы, и онъ увилить, что мои слова не безъ смысла сказаны.

Новый переходъ! «Въ какомъ отношеніи Байронъ къ Попу, въ такомъ Пушкинъ (разумѣется, въ Онѣгинѣ) къ прежнимъ сочинителямъ русскихъ шуточныхъ поэмъ»—такъ сказалъ я, и г. —въ математически доказываетъ, что я унизилъ Пушкина, ибо сказалъ прежде, что у насъ не било ничего сколько нибудь сноснаго. Въ математическомъ примѣрѣ г. —въ сдѣлалъ просто ошибку, а что касается до напоминанія о Модной Женѣ и Душенькѣ, скажу ему, что я разумѣлъ шуточныя поэмы, коихъ предметъ взятъ изъ общежитія. Модная Жена — сказка, а не поэма; Душенька нейдетъ въ сравненіе, ибо предметь ея взятъ изъ миеологіи: Донъ-Жуану и Беппо я противополагалъ «Похищенный локонъ» Попа; что же противополагается у насъ Онѣгину? — Игрокъ домбера, Расхищенныя шубы?

Скрытное предубъждение г. —ва противъ Пушкина сильно обнаруживается въ упрекъ, который дълаетъ онъ мнъ за то, что я нахожу народность въ Онъгинъ. «Я не знаю, что тутъ народнаго, говоритъ г. —въ, кромъ именъ петербургскихъ улицъ и ресторановъ. И во Франціи, и въ Англіи, пробки хлопаютъ въ потолосъ, охотники ъздятъ въ театръ и на балы.» — Вотъ разительный примъръ, что значитъ смотръть на сочинение косыми глазами предубъжденія! Надобно думать, что г. —въ полагаетъ народность русскую въ русскихъ черевикахъ, лаптяхъ и бородахъ, и тогда только назвалъ бы Опъгина народнымъ, когда на сценъ представился бы русскій мужикъ съ русскими поговорками, побасенками и пр. Народность бываетъ не въ одномъ низшемъ классъ; печать ем видна во всъхъ званіяхъ

и вездв. Наши богачи подражають французамъ; Петербургъ, болье всыхъ русскихъ городовъ, похожъ на иностранный городъ; но и въ быту богачей, и въ Петербургъ, никакой иностранецъ совершенно не забудется, всегда увидитъ предметы, напоминающіе ему Русь: такъ и въ Онѣгинъ. Общество, куда поставилъ своего героя Пушкинъ, мало представляетъ отпечатковъ русскаго народнаго быта, но всъ сіи отпечатки подмъчены и выражены съ удивительнымъ искусствомъ. Ссылаюсь на описаніе петербургскаго театра, воспитаніе Онѣгина, поъздку къ Талону, похороны дяди, не исчисляя множества другихъ чертъ народности. Впрочемъ, черезъ страницу, самъ г. —въ называетъ поэму Пушкина «полною картиною петербургской жизни»; но кто вполнъ изобразилъ Петербургъ, тотъ развъ не изобразилъ народности?

Заключеніе критики достойно начала. Я затруднялся въ прінкивавів ошибокъ у Пушкина; г. —въ не такъ разборчивъ. «Цёлое произведеніе можеть иногда быть одною ошибкою» —говорить онъ и тотчасъ прибавляеть: «я не говорю этого на счеть Онегина.» Понимаю: это Альцестовское је пе dis pas cela, и прошу г. —ва впередъ или не делать такихъ намековъ, или скрывать ихъ искуснее! Эпилогъ г. —ва читатели благоволять прочитать сами; въ немъ опровергать нечего: это результатъ всей статьи, а мы видели, что въ ней изть ни одной строки, которая бы удержалась при взглядъ безпристрастія. Что касается до советовъ, мий преподаваемыхъ, то, въ отплату за нихъ, я прошу г. —ва припоминать ихъ самому себъ, когда придеть ему опять охота советовать другимъ.

ОТВЪТЪ Г. ПОЛЕВОМУ *.

Четыре мъсяца скрылись уже въ въчности съ тъхъ норъ, какъ я сообщилъ "Сыну Отечества" (въ 8 кн.) нъсколько замъчаній на разборъ Евгенія Онъгина, помъщенный въ Московскомъ Телеграфъ. Съ того времени многіе — во многихъ журналахъ возставали противъ мнъній и ошибокъ г. Полеваго, но всъ критики, безъ исключенія, оставались безъ отвъта: казалось, что г. Полевой смотрълъ на всъ замъчанія холоднымъ взоромъ совершеннаго равнодушія; послъдствіе до-

^{*)} Извлечено изъ ЖXX1V Сына Отеч. за 1825 г. (прибавленіе въ Сыну Отеч.).

казало, что равнодушіе его было не совсемъ искрепнее и что онъ дорожилъ временемъ для того только, чтобъ собраться съ силами.

Если бы г. Полевой писаль антикритики съ твиъ наивреність, чтобы занимать своихъ читателей литературными преніями, всегда полезными, когда они не выходять изъ сферы литературы; то, при появленіи всякой рецензіи, онъ конечно бы замътилъ мивнія, съ которыми несогласенъ, изложиль бы свои собственныя, и предоставиль своимь читателямъ судить о побъдъ. Но г. Полевой чуждается литературныхъ споровъ, нигдъ не показываетъ собственнаго образа мыслей, и, какъ уполномоченный судія въ словесности, нигдъ не терпить сужденій другихъ. Для сей цали выбраль онъ средство совстви новое, но очень простое: ему стоить только вооружиться теривніемъ. Подождавъ насколько масяцевъ, онъ увъренъ, что читатели почти совсъмъ забыли рецензію, писанную противъ него, привязывается къ нъсколькимъ выраженіямъ, вырваннымъ изъ статьи, разсыпаетъ полную горсть знаковъ вопрошенія и.... торжествуетъ. Видумка счастливая, сознаемся; но зам'втимъ, не во зло ему, что антикритика, въ такомъ случав, не ответъ литератора, а голосъ досалы.

Руководствуемый другою цълію, я буду дъйствовать другими способами, и постараюсь объяснить себъ, какъ можно лучше, отвътъ г. Полеваго. Онъ самъ сознается, что не поняль статьи моей, и "не могъ добиться, чего я точно хочу." Я смъю увърить г. Полеваго, что поняль его отвътъ, и добился, что онъ хочетъ оправдать свои ошибки; но къ несчастю, это желаніе осталось безуспъшнымъ. — Въ заключе-

ніе моей рецензіи я сказаль о разборь г. Полеваго, "что желаль бы видыть въ немь критику болье основанную на правилахь положительныхъ." Странно, что теперь г. Полевой не знаеть, чего я хотыль. Еслибъ онъ мив доказаль, что разборь Оныгина быль точно основань на правилахъ вырныхъ, представиль развитіе положительной литературной системы, тогда бы споръ нашь прекратился, или я бы замытиль сочинителю разбора, что не во всемь согласень съ его системою; но г. Полевой не думаеть о защить собственныхъ мивній и обращаеть все свое стараніе на то, чтобы представить мои мысли въ смышномъ виды. Посмотримъ, удачно ли онъ исполняеть свое намыреніе.

Я радъ бы сказать, какъ г. Полевой: "оставимъ мелочния привязки"; но это невозможно, ибо вся статья его наполнена однъми "привязками," и въ ней нътъ ни одной мысли, которая бы могла послужить предметомъ разбора. Впрочемъ у всякаго свой вкусъ: одинъ дорожитъ своими мыслями, другой своими словами и шутками. И такъ, чтобы не оскорбить авторскаго самолюбія молчаніемъ, пробъжимъ по порядку всё остроумныя шутки и важнъйшія замъчанія г. издателя Телеграфа.

Я говорилъ, что "Пушкинъ подарилъ нашу словесность прелестными произведеніями". Г. Полевой возстаетъ противъ сихъ выраженій и кончаетъ насмѣшкою и описаніемъ вшествія царя Михаила Өеодоровича въ Москву. Соглашаюсь, что его насмѣшка очень забавна, ибо она очень неудачна, но замѣчаніе его почитаю несправедливымъ и даже натяжкою. Словесность тогда только принимается въ смыслѣ общемъ и представляетъ понятіе цѣлое, нераздѣльное, когда мы подъ

симъ выраженіемъ понимаемъ всю исторію просвъщенія какого либо народа, всю сферу его умственной дъятельности; но въ смыслъ обыкновенномъ это слово выражаетъ сумму произведеній, опредъляющихъ одну только степень народной образованности; сію сумму можно умножать, и она всегда умножается; слъдственно словесность можно "обогащать и дарить новыми произведеніями".

Благодарю г. Полеваго за объяснение "равноположныхъ" понятій, но признаюсь, что оно для меня очень не удовлетворительно: онъ не отгадаль моей мысли. Когда я говорилъ, что "Байронъ принадлежитъ духомъ не одной Англіи, а нашему времени" я хотель сказать (и, кажется, выразился ясно), что Байронъ принадлежить характеру не одного народа, но самаго въка, т. е. характеру просвъщенія въ нашемъ въкъ-тутъ "о цълой Европъ" ни слова. Далъе г. Полевой увъряетъ, что "слово цълый можетъ относиться къ слову въкъ тогда *), если мы примемъ его въ смыслъ стольтія". Но я, къ несчастію, недовърчивъ, и мив кажется, что слово въкъ, означая въ филологическомъ смыслъ полный періодъ образованности, и представляя следственно нонятіе опредъленное, очень терпить прилагательное цълый; наконецъ рецензентъ мой утверждаетъ, что еслибъ я сказалъ: "Байронъ соединилъ (или положимъ хоть сосредоточилъ) навлонность своего въка, то здъсь можно бы понять, что Байронъ былъ, такъ сказать, отпечаткомъ нынъшняго времени" но я очень радъ, что этого не сказалъ. Во-первыхъ, соединить наклонность въка, очень дурно и неправильно

^{*)} Тогда, если не чисто по русски.

выражаеть мою мысль: сосредоточить стремление выка; во-вторыхъ, Вайронъ отпечатовъ нынёшняго времени — ничего не значить. Отпечатокъ нынашняго времени есть характерь, духъ въка. Байронъ можетъ носить на себъ сей отпечатокъ; но самъ не можетъ быть отпечаткомъ нынъшняго времени; при томъ же большая разница между нашимъ въкомъ и нынъшнимъ временемъ. Въку принадлежать тв только произведенія, по которымъ потоиство опредъляеть характеръ въка; къ нынъшиему времени относится все нынъ писанное, не исключая даже дурныхъ антикритикъ. — Но вотъ вънецъ замъчаній г. Полеваго: я кончаю періодъ свой следующимъ образомъ: "еслибъ Байронъ могъ изгладиться въ исторіи частнаго рода поэзіи, то верно остался бы въ лътописяхъ ума человъческаго". Толкуя по своему расположение словъ, изд. Телеграфа вопрошаеть: "Исторія поэзін разв'в не часть лівтописей ума человівческаго?" — Повърить ли, что г. Полевой не поняль моей мысли? — Для всякаго случая объяснимъ ее. Если Байронъ и могъ бы изгладиться въ исторіи трагедіи, если бы имя его могло исчезнуть въ исторіи эпопеи и лирической поэзіи, то при всемъ томъ онъ върно остался бы въ летописяхъ ума человъческаго, т. е. возвышенныхъ мыслей и глубокихъ чувствъ. Г. Полевой продолжаеть съ восклицаніями: "Развъ Тредьяковскій можеть изгладиться въ сихъ льтописяхъ" (въ льтописяхъ ума человъческаго)? "Никогда! Онъ будеть въ нихъ, какъ памятникъ стремленія къ поэзіи безъ таланта. Исторія поэзіи повторить всв имена, только не равно о всвхъ отзовется."-Здъсь маленькая ошибка. Г. Полевой смъшиваеть льтописи ума человъческого съ памятниками безумія, невъжества и безсилія; по если исторін повторяєть всв имена, то прошу г. издателя Телеграфа назначить мнв библіотеку, въ ноторой хранится списокъ всвуъ дурныхъ и посредственныхъ поэтовъ персидскихъ, индъйскихъ, греческихъ, латинскихъ проч., а я, съ своей стороны, доставлю ему имена всвуъ твуъ, которые двиствовали на различные сіи народы и опредвляли ихъ различные характеры. Еще вопросъ: если бы исторія поэзіи состояла въ собраніи именъ всвуъ возможныхъ поэтовъ міра и всвухъ различныхъ отзывовъ, то кто решился бы посвятить себя изученію такой исторіи, кто надъялся бы когда нибудь выпить это море ?—

Говоря о характер'в Байроновыхъ произведеній, я выразился следующимъ образомъ: "Все произведения Байрона носять отпечатокь одной глубокой мысли, мысли о человъкъ въ отношени къ окружающей его природъ, въ борьбъ съ самимъ собою, съ предразсудками, връзавшимися въ его сердце, въ противоръчи съ своими чувствами. Это опредъленіе называеть г. Полевой "наборомъ словъ, неудачнымъ подражаніемъ Ансильонову опредвленію поэзіи Гете и Шиллера". Иной подумаеть, что г. Полевой подтвердить доказательствами столь ръшительный приговоръ; но все ръшается опять съ помощію нъсколькихъ знаковъ вопрошенія и посредствомъ восилицанія: "Какъ разгадать мысль г. —ва? — Какъ? Изучивъ со вниманіемъ творенія Байрона и составивъ себъ върное, общее понятіе о поэзіи. Увъряю г. Полеваго, что это лучшій способъ разгадывать всв мысли. для насъ новыя. Я не распространяюсь объ Ансильоновомъ опредъленіи; но спрашиваю всякаго безпристрастнаго человъка: имъетъ ли оно сходство съ моею мыслію, и можно

ли обвинить кого нибудь въ подражаніи, *) чему же? — опредълению.

"Если бы должно было выразить жарактеръ Байрона" * говорить г. Полевой: "то всего лучше, повторяю, можно назвать его творенія эмблемою нашего века. Прекрасно!! Вотъ определеніе! Не то ли самое выразиль я, говоря, что Байронъ сосредоточилъ стремленіе целаго века? Не та же ли мысль-разумъется, въ новомъ видъ, украшенная перомъ издателя Телеграфа ? Но мысль сія опредѣляеть только достоинство Байрона, а не характеръ его; ибо она еще не показываеть намъ, въ чемъ состоитъ духъ нашего въка. -Г. Полевой продолжаеть: "Я.... очень понималь, что говорю, **) когда неопределеннымъ, неизъяснимымъ состояніемъ сердца хотълъ означить сущность и причину романтической поэзіи." Не знаю, съ какимъ намфреніемъ г. Полевой, послф крупнаго "Я" поставиль родь таинственныхь точекь; но желаль бы, чтобы онъ съ нами подвлился твиъ, что очень понимаетъ, и чего мы понять не можемъ, ибо "неопредъленное, неизъяс-•нимое состояніе сердца" ничего не опредъляеть, ничего не изъясняетъ. Далее г. Полевой повторяетъ мои слова, и спова восклицанія: "Опять сбивчивость въ словахъ и понятіяхъ!.

Прим. В-ва.

^{*)} Г. Полевой, не въ первый разъ, безъ малѣйшаго основанія и единственно по произвольному приговору, обвиняеть другихъ въ подражаніи Не онъ ли недавно говорилъ о сочиненіи г. Хомякова: Желаніе покоя что главная мысль сего стихотворенія занята изъ извѣстнаго Делилева Диепрамба, — извѣстнаго конечно многимъ, но видно не всѣмъ. Я смѣю увѣрить изд. Телеграфа, что главныя мысли сихъ двухъсочиненій не имѣютъ ни малѣйшаго сходства между собою, и что мысль Русскаго Поэта и возвышеннѣе, и сильнѣе выражена. Прочтя обѣ піесы, онъ самъ въ этомъ не будеть сомнѣваться.

Прим. В—ва.

^{**) «}Я понималь, что говорю», — на зло всякой грамматикъ.

Кто изъ поэтовъ имѣлъ разсказъ, т. е. исподненіе поэмы, цѣлію, и даже кто изъ прозаиковъ въ твореніи обширномъ? Характеръ героевъ можно и не можно почесть связью описаній и проч. Торжествуйте, г. издатель Телеграфа! но оглянитесь, и посмотрите, надъ кѣмъ вы смѣетесь. Я не удивляюсь, что вы забыли собственныя свой мысли; но всѣ сіи выраженія въ статьѣ моей напечатаны курсивомъ, и слѣдственно могли бы вамъ напомнить, что они заимствованы изъ вашего разбора Онѣгина. Примѣрное добродушіе! Мы знаемъ журналы, въ которыхъ забавляютъ читателей баснями, шутками на счетъ другихъ, но издатель Телеграфа, первый, собственными мнѣніями жертвуеть забавѣ своихъ читателей!

После некоторыхъ другихъ вопросовъ, подобныхъ темъ, которые мы видели, г. Полевой продолжаеть: "Если бы г. -- въ хотълъ поддержать взведенное на меня интеніе, что я равняю Пушкина Байрону, онъ долженъ бы противопоставить на пр. Донъ-Жуана Онъгину".--Мнъ кажется противное: я не равнялъ Пушкина Вайрону, и слъдственно не буду сравнивать ихъ произведеній, следственно и не понимаю требованія г. Полеваго и забавнаго его предложенія. "Но точно что-то подобное имълъ, какъ я *) предполагаю (въ виду) г. —въ, делая свой вопросъ". (Что такое Онегинъ?) Этотъ вопросъ не мой, а принадлежитъ г. Полевому, и я, повторяя его, хотълъ только доказать издателю Телеграфа, что онъ этого вопроса ръшить не можеть, не прочитавъ всего романа. — "Такъ, я сказалъ, продолжаетъ г. Полевой, что Онъгинъ принадлежитъ къ тому самому роду, къ которому принадлежать поэмы Байрона и Гёте." — Г. Поле-

Прим. В-ва.

3.

^{*)} Что точно, того не предполагають.

вой тамъ сділаль ошибку, а здісь ее повторяеть. Увіряю его, что Гете никогда не писаль поэмъ въ роді Донь-Жуана, Беппо и Онівгина. Гете написаль только дві поэмы: Hermann und Dorothea и Reinecke Fuchs; первая, въ роді Луизы Фосса, есть также нівкоторымъ образомъ идиллія, и описываеть семейственную жизнь маленькихъ нівмецкихъ городковъ; во второй дійствують звіри, а не люди; слідственно, ни одна не развиваеть характера образованнаго человінка въ быту большаго світа.

Теперь приступаемъ къ центру, въ которомъ г. Полевой соединилъ противъ меня все свое искуство, всъ свои силы, къ тому обвинению, которое заставило меня взять перо и отвъчать на антикритику, впрочемъ не убійственную. Чуждаясь (можетъ быть, отъ недостатка времени) вступить въ подробное разсмотръніе изложенныхъ мною мнъній и опровергать ихъ, какъ литераторъ, онъ хотълъ поразить меня однимъ ударомъ и выбралъ лучшее средство поссорить меня со всъми образованными читателями, увъряя ихъ, что я имъю скрытное предубъжденіе противъ Пушкина. "Для чего" говорить онъ: "закрывать столькими словами мысль, явно видимую, состоящую въ томъ, что г. — въ почитаетъ Пушкина не великимъ поэтомъ, а просто подражателемъ Байрона?"

"Я сказалъ прежде, что въ Онъгинъ есть стихи, которыми одолжены мы памяти поэта, скажу что и въ другихъ его поэмахъ такіе стихи попадаются". Гдъ же эта исность? Гдъ обнаруживаю я такую мысль! Правда, я смотрю на талантъ совсъмъ съ другой точки, нежели г. Полевой, и увъренъ, что поэть, какъ Пушкинъ, пишеть не съ памяти; но выражаетъ сильныя чувства, сильныя впечатлънія, поселен-

ныя въ немъ самимъ въкомъ, наклоннымъ въ глубокой мечтательности, и Байрономъ — представителемъ своего въка. Изъ этого г. Полевой выводить, что Пушкинъ подражатель. Но объявляю ему, что я не думалъ писать противъ Онвгина, возставалъ противъ разбора Онъгина, не отказывалъ г. Пушкину въ похвалахъ, но вооружался противъ техъ, которыя наполняли Телеграфъ, и до сихъ поръ не понимаю. какъ г. Полевой смъшиваетъ себя съ Пушкинымъ. Для панегириста Пушкина это непростительная ошибка. Скажу болъе, я не могъ писать противъ Онъгина по двумъ причинамъ: во-первыхъ, потому, что изъ Онъгина читалъ я только первую главу, и въ этомъ случав не хотвлъ подражать г. Полевому, который судить по ней обо всемъ романъ, и увържеть теперь bona fide, что онь опредълиль сочинение Пушкина; во-вторыхъ-я почитаю безполезнымъ писать противъ всякаго поэта. Издатель Телеграфа позволить мив объяснить ему сію вторую причину языковъ не ученымъ, но понятнымъ для всякаго, - языкомъ, который следственно избавитъ его отъ лишней траты вопросительных знаковъ, а меня отъ лишнихъ буквальныхъ поясненій. Я разділяю вообще поэтовъ на два класса: на хорошихъ и дурныхъ; хорошихъ читаю, перечитываю, и стараюсь определить себе ихъ характеръ; дурныхъ кладу въ сторону. Похвала изъ устъ неизвъстнаго не польстить поэту, но увъряю г. Полеваго, что я не разъ читалъ сочиненія Пушкина, и всегда наслаждался ихъ красотами. Надъюсь, что теперь самъ г. Полевой найдетъ, къ чему отнести выраженія мои: "цълое сочиненіе можеть иногда быть одною ошибкою."

Чтобъ не оставить ни одного замвчанія г. Полеваго безъ

отвъта, разсмотримъ; какъ онъ объяснилъ примънение очерка картины въ Онвгину. "Въ разсуждении Онвгина", говоритъ онъ: "пусть г. —въ вообразить, что Рафаэль, решившись писать картину изъ многихъ лицъ, сдёлалъ очеркъ одной головы, и онъ увидить, что мои слова не безъ смысла". — Не вижу этого. Если мы и сравнимъ весь (положимъ существующій) романь Онвгина съ полною картиною, то следуеть ли изъ сего, что одну "главу" романа можно сравнить съ очеркомъ одной "голови" картины. Кажется, ивть: въ очеркъ одной головы мы уже видимъ весь характеръ изображаемаго лица; но для насъ еще сокрыта сцена, его окружающая, отношение его въ прочимъ лицамъ. — Напротивъ того, въ первой главъ Онъгина, поэтъ уже обозначилъ общество къ которому принадлежить его герой, очертиль сферу его действій; но характеръ еще не развить, онъ будеть развиваться въ продолженіи всего сочиненія, и мы его только предугадываемъ. — Увъренъ, что картина г. Пушкина будетъ прекрасна; желаю, чтобъ она была подобна Рафаэлевымъ.

Стараясь въ критикъ моей на разборъ Онъгина, различными способами, обличить сбивчивость понятій г. Полеваго, который ссылался на живопись и на музыку, все неудачно, я въ маленькомъ примъчаніи доказаль ему математически, изъ собственныхъ же словъ его, что онъ не только унизилъ достоинство Пушкина, но превратилъ его въ ничто. Г. Полевой отвъчаетъ: "въ математическомъ примъръ, г. — въ сдълалъ просто ошибку." Это сказано слишкомъ просто; но что сказано, не всегда доказано *).

^{*)} Трудно полагаться на сужденія изд. Телеграфа безъ доказательствъ. Мы знаемъ, что онъ судить о всёхъ наукахъ и искусствахъ; но онъ имъетъ,

Когда г. Полевой утвердительно сказалъ, что у насъ не было ничего, сколько нибудь сноснаго, въ родъ Онъгина, а напомниль ему о Модной женъ и о Душенькъ, но онъ недоволенъ моимъ напоминаніемъ. "Модная жена — сказка, не поэма." Развъ Онъгинъ—поэма, не романъ? Что опредъляетъ родъ Поэвіи? Названіе ли произведеній, или точка зрънія, съ которой поэтъ взираетъ на предметы? Душенька также не идетъ въ сравненіе, ибо г. Полевой говоритъ, "что онъ разумълъ тъ шуточныя поэмы, коихъ предметы заимствованы изъ общежитія". "Донъ Жуану" говоритъ онъ, "противополагаю я Похищенный локонъ; чтожъ и проч." Г. Полевой могъ бы быть осторожнъе. Въ Похищенномъ локонъ дъйствуютъ Сильфы и Гномы; прошу его объяснить мнъ, къ какому общежитію принадлежатъ такія дъйствующія лица.

Мить остается сказать что нибудь о народности, и что я разумтью подъ симъ выражениемъ. Я полагаю народность не въ черевикахъ, не въ бородахъ и проч. (какъ остроумно думаетъ г. Полевой), но и не въ томъ, гдт ея ищетъ

Прим. В-ва.

во всёхъ частяхъ, свёдёнія совершенно особенныя. Не онъ ди, напр. въ разборё Полярной Звёзды, ставить двё словесности въ равную парадлель? Какой математикъ разгадаеть намъ такую загадку? — Не онъ ди утверждаеть, что есть музыка А — мольная. Пусть спросить онъ у самаго ученаго музыканта, что такое музыка А — мольная; тоть вёрно не найдеть отвёта. Есть А — мольний тонъ; могуть быть, и есть А — мольныя симфоніи, концерты и т. п., начинающіеся въ тонё А — моль, но симфоніи и концерты не музыки, а музыкальныя произведенія. Не въ его ди журналё увёряють: что богиня подарковъ не могла называться Strenno; потому что въ латинскомъ языкё, имена женскаго рода не могуть кончаться на слогь по? Въ какой датинской грамматикё г. сочинитель нашель постоянное правило для именъ женскаго рода, и къ какому роду принадлежить имя Јипо? Впрочемъ, объ этомъ говоримъ только мимоходомъ.

издатель Телеграфа. Народность отражается ие въ картинахъ, принадлежащихъ какой либо особенной сторонъ, но въ самихъ чувствахъ поэта, напитаннаго духомъ одного народа и живущаго, такъ сказать, въ развитіи, успъхахъ и отдъльности его характера. Не должно смъшивать понятія народности съ выраженіемъ народныхъ обычаевъ: подобныя картины тогда только истинно намъ нравятся, когда онъ оправданы гордымъ участіемъ поэта. Такъ напримъръ, Шиллеръ, въ Вильгельмъ Телъ, переноситъ насъ не только въ новый міръ народнаго быта, но и въ новую сферу идей: онъ увлекаетъ, потому что пламеннымъ восторгомъ самъ принадлежитъ Швейцаріи.

Я противорвчиль г. Полевому на каждомъ шагу; но надъюсь, что никто не принишеть этого управству: со всей доброй волею, я не могь ни въ чемъ съ нимъ согласиться. Предоставляя читателямъ судить о достоинствъ антикритикъ, печатанных въ Телеграфъ, предлагаю имъ только на судъ мое мивніе. Онв всв, кажется мив, писаны въ шутку; ибо кто же, не шутя, решится опровергать свои собственныя мивнія, приписывать Гёте поэмы, которыхъ онъ никогда не писаль, утверждать, что предметь Похищеннаго ловона взять изъ общежитія и проч. и проч. и проч. В Г. Полевой простить мив многія шутки, но написавь статью, въ которой я изложиль нъкоторую систему литературы, которая слъдственно могла быть предметомъ литературнаго спора, и заставить съ объихъ сторонъ развивать и опредълять понятія, могь ди я ожидать такого ответа, какимъ подариль меня издатель Телеграфа? Впрочемъ объщаю ему впередъ никогда не возставать противь его замечаній; темь более, что онь самь

въ началь своей статьи противъ меня объявляеть, что замъчанія его болье библіографическія, нежели критическія: теперь знаю, съ какой стороны должно о нихъ судить. Вибліографъ извъщаеть о появленіи книгъ, описываетъ ихъ форматъ, обозначаетъ число листовъ и страницъ, типографію, цъну и мъсто продажи, а во всъхъ сихъ случаяхъ, я готовъ всегда слъпо върить г. Полевому.

Москва.

--- 6v.

НЪСКОЛЬКО СЛОВЪ О ВТОРОЙ ПЪСНИ ЕВГЕНІЯ ОНЪГИНА*

Съ Онъгинымъ давно познакомились всъ русскіе читатели, и намъ, нъкоторымъ образомъ, уже поздно говорить о немъ; но, какъ издатели журнала, мы обязаны прибавить свой голосъ къ голосу общему и сказать о немъ хоть нъсколько словъ. Вотъ наше мнъніе.

Вторая пѣснь, по изобрѣтенію и изображенію характеровъ, несравненно превосходнѣе первой. Въ ней уже совсѣмъ исчезли слѣды впечатлѣній, оставленныхъ Вайрономъ, и въ Сѣверной Пчелѣ напрасно сравниваютъ Онѣгина съ Чайльдъ-Гарольдомъ. Характеръ Онѣгина принадлежитъ нашему поэту и развитъ оригинально. Мы видимъ, что Онѣгинъ уже испытанъ жизнью; но опытъ поселилъ въ немъ не страсть мучительную, не ѣдкую и дѣятельную досаду, а ску-

^{*} Этотъ отзывъ быль присланъ Веневитиновымъ изъ Петербурга, въ редакцію «Московскаго Вѣстника», черезъ нѣсколько времени послѣ появленія въ свѣтъ второй пѣсни Онѣгина. Онъ напечатанъ въ № 4-мъ Моск. Вѣстн. за 1828 г. А. П

ку, наружное безстрастіе, свойственное русской холодности (им не говоримъ русской лівни.) Для такого характера все рішають обстоятельства. Если они пробудять въ Онівгині сильным чувства, мы не удивимся;—онъ способень быть минутнымъ энтузіастомъ и повиноваться порывамъ души. Если жизнь его будеть безъ приключеній, онъ проживеть спокойно, разсухдая умно, а дійствуя лівниво.—О стихахъ ни слова.— Если мы опоздали говорить о самомъ Онівгинів, то хвалить стихи Пушкина и подавно поздно.

переводы.





EBPONA.

(Отрывовъ изъ Герена)

Изследователь исторіи человечества едва ли встречаеть явленіе, которое было бы такъ ясно и вивств такъ затруднительно для объясненія, какъ преимущество собственное Европъ предъ прочими частями свъта. При самомъ безпристрастномъ сужденім о достоинств'в другихъ земель и народовъ, мы увидимъ истину несомивнную: что все благороднъйшее, все превосходное во всъхъ родахъ, чъмъ только гордится человъчество, прозябало или по крайней мъръ ловръвало на почвъ европейской. Множествомъ, красотою, разнообразіемъ естественныхъ произведеній, Азія и Африка преимуществують предъ Европою; но во всемь, что есть произведеніе человъка, народы европейскіе превосходять жителей другихъ частей свъта. У нихъ семейственное общество, освящая союзъ одного мужчины съ одною женщиною, получило вообще то образованіе, безъ коего облагородствованіе столь многихъ способностей нашей природы кажется невозможнымъ. Ў нихъ преимущественно, и почти исключительно, образовались правленія въ такомъ видъ, въ какомъ онъ должны быть у народовъ, достигнувшихъ познанія правъ своихъ. Тогда какъ Азія, при всёхъ перемёнахъ великихъ государствъ, представляетъ намъ въчное возрождение деспотизма, на почвъ европейской развернулось зерно представительныхъ правительствъ въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, которыя оттуда были перенесены и въ другія части світа. Положимъ, что простъйшія открытія механическихъ искусствъ принадлежать частію востоку: но какъ усовершенствовали ихъ европейцы! Какъ далеко отъ станка на берегахъ Индуса до паровой прядильной машины, отъ указателя часовъ солнечныхъ до часовъ астрономическихъ, которые проводять мореплавателя чрезъ все пространство океана, отъ китайской Барки до британскаго Оркога. И если наконецъ обратимъ взоры на благороднъйшія искусства, которыми человьческая природа превзошла, такъ сказать, сама себя: какая разница между Юпитеромъ Фидіаса и индейскимъ идоломъ, между Преображеніемъ Рафаэля и твореніями Китайскаго живописца! Востовъ имълъ своихъ лътописцевъ, но никогда не произвель ни Тацита, ни Гиббона; инвлъ своихъ песнопрвиевр и никогда не возвышался до критики; имфлъ мудрецовъ, которые нередко сильно действовали поученіями на своихъ народовъ; но Платонъ, Кантъ, не могли созръть на берегахъ Гангеса и Гоанго.

Менње ли заслуживаетъ удивленія то политическое преимущество, которымъ народы этой малой частицы земли, едва вышедши изъ состоянія дикаго, уже немедленно пользуются предъ обширными землями большихъ частей свѣта? И востокъ видѣлъ великихъ завоевателей; но только въ Европъ возникли полководцы, которые изобрѣли науку воинскую, по всей справедливости, заслуживающую имя науки. Македонское царство, заключенное въ тѣсные предѣлы, едва воспрануло отъ младенчества, какъ уже македоняне владычествовали на берегахъ Индуса и Нила. Наслъдникомъ сего міродержавнаго народа быль міродержавный градъ; Азія и Африка поклонились Цезарю. Напрасно и въ средніе въка, когда умственное превосходство европейцевъ, казалось, совершенно прекратилось, напрасно восточные народы старались поработить ее. Монголы проникли до Силезіи, только степи Россіи повиновались имъ нъсколько времени; Арабы покушались наводнить западъ; мечъ Карла Мартела принудилъ ихъ довольствоваться одною частію Испаніи, а вскор'в рыцарь франкскій, подъ знаменемъ креста, преследоваль ихъ въ ихъ собственномъ отечествъ. Какъ ясно слава европейцевъ озарила міръ съ техъ поръ, какъ открытія Колумба и Васки де Гама зажгли для нихъ утро счастливъйшаго дня! Новый міръ дълается ихъ добычею; болье трети Азіи покорилось Россійской Державь; купцы береговъ Темзы и Зюйдерзее поработили Индію; если по сихъ поръ и удается османамъ удержать въ Европъ ими похищенное, всегда ли, долго ли оно будеть находиться въ ихъ владеніи? Сознаемся, что завоеванія европейцевъ были сопряжены съ жестокостію; однакоже европейцы были не только тиранами міра: они были также его наставниками; кажется, съ ихъ успъхами, всегда тъсно соединяется образование народовъ, и если, во времена всеобщихъ превращеній, еще остается утъщительная надежда для будущаго, то эта надежда не основана-ли на торжествъ европейской образованности внъ самой Европы ?

Откуда это преимущество, это міродержавіе тісной Европы ? Важная истина представляется здісь, какъ бы сама собою. Не дикая сила, не простой физическій перевісь массы — умъ подариль ее первенствомъ, и если военное искусство европейцевь и было основаніемъ ихъ владычества, то благоразумная политика сохранила имъ оное. При всемъ томъ, это еще не отвътъ на вопросъ, насъ занимающій; ибо именно мы хотимъ знать, откуда произошло умственное превосходство европейцевъ ? почему здъсь именно, и здъсь исключительно, способности человъческой природы достигли столь общирнаго и . столь прекраснаго развитія ?

Всѣ старанія отвѣчать совершенно удовлетворительно на сей вопросъ были бы тщетны; явленіе въ себѣ самомъ слишкомъ богато, слишкомъ значительно. Всѣ охотно допустять, что оно не что иное, какъ послѣдствіе многихъ содѣйствующихъ причинъ. Нѣкоторыя изъ сихъ причинъ могутъ быть отдѣльно исчислены, могутъ слѣдовательно доставить нѣсколько доказательствъ. Но исчислить ихъ всѣ, показать, какъ кахдая дѣйствовала сама собой въ особенности, а всѣ совокупно — такой трудъ могъ бы совершить только тотъ умъ, которому бы дано было съ высшей точки, недосягаемой для смертнаго, обозрѣть всю ткань исторіи нашего рода, изслѣдовать ходъ и сцѣпленіе всѣхъ ея нитей.

Между тъмъ важное обстоятельство представляется взорамъ, обстоятельство, на которое однакожь осторожный наблюдатель только съ робостію обратитъ свое вниманіе. Мы видимъ, что прочія части свъта покрыты народами различнаго, почти вездъ темнаго цвъта (и если цвътъ опредъляетъ племена, то и различныхъ племенъ), жители Европы, напротивъ того, принадлежатъ къ одному племени. Она не имъетъ и не имъла другихъ природныхъ жителей, кромъбълыхъ народовъ. *) Не отличается ли сіе бълое племя уже большими

^{*)} Цыганы чужіе народы; а къ какому племени, къ бѣлому ли, или къ желтому, должны быть причислены Лапландцы, это еще подвержено сомнѣнію

врожденными способностями? Не самыя-ли сіи способности и дають ему первенство предъ прочими? Вопросъ, котораго не разръшаетъ физіологія и на который только съ робостію отввчаетъ историкъ. Если мы скажемъ, что различіе организацій, которое мы въ столь многихъ отношеніяхъ замівчаемъ при различіи цвътовъ, можетъ ускорить или замедлить развитие умственныхъ способностей, кто будетъ утверждать противное? Съ другой стороны, кто можетъ доказать это вліяніе ? Развъ тотъ, кому бы удалось приподнять таинственный покровъ, скрывающій отъ взоровъ нашихъ взаимныя узы между теломъ и духомъ. Вероятно, однакожъ, мы откроемъ эту тайну: ибо какъ усиливается эта въроятность, когда мы вопрошаемъ о томъ Исторію! Значительное превосходство, которымъ во всв въка, во всвхъ частяхъ света, отличались. бълые народы, есть дъло ръшеное, неоспоримое. Можно отвъчать, что это было послъдствіе внъшнихъ причинъ, которыя имъ благопріятствовали; но всегда-ли такъ было, и отъ чего всегда такъ было? Почему темные народы, которые на сколько нибудь и выходили изъ состоянія варварства, достигали только имъ назначенной степени, степени, на которой равно остановился и Египтянинъ и Монголъ, Китаецъ и Индеецъ? Отчего, следуя тому же закону, и между ними, черные народы всегда отстають отъ темныхъ и отъ желтыхъ? Если такіе опыты заставляють нась вообще предположить въ нъкоторыхъ отрасляхъ человъческаго рода большія или меньшія способности, то они нимало не доказывають совершеннаго недостатка способностей въ тъхъ изъ нашихъ братьевъ, которые темнее насъ, и никакъ не могутъ быть приняты за единственную причину. Это доказываеть только то, что всё опыты доселё намъ извёстные увёряють насъ во

вліяніи цвъта на развитіе способностей народовъ; но мы охотно благословимъ времена, которыя опровергнуть этотъ опытъ, которыя представять намъ и Эсіоповъ образованными.

Какъ бы то ни было, много-ли, мало-ли, заслуживаетъ вниманія сіе природное первенство жителей Европы, нельзя не признаваться въ томъ, что и физическое устройство сей части свъта представляетъ собственныя выгоды, которыя не мало содъйствують къ объясненію занимающаго насъявленія.

Почти вся Европа принадлежить свверному, умфренному поясу; значительнъйшія земли ея находятся между 40 и 60° С. III. Ближе въ съверу постепенно умираетъ природа. Такимъ образомъ, наша часть свъта нигдъ не представляетъ роскошнаго плодоносія тропических земель, не им'я также такого неблагодарнаго климата, который бы заставляль посвящать всю силу человъка одной заботъ о пропитаніи жизни. Вездів, гдів только не мізшають мізстныя причины, Европа удобна для хлебопашества. Она приглашаеть и некоторымъ образомъ понуждаетъ своихъ жителей къ земледелію; ибо она столь же мало благопріятствуеть жизни звіролововь, какь и пастушеской. Если народы, ее населяющіе, въ изв'єстныя времена и перемвняли свои жилища, то они никогда не были собственно номадами. Они странствовали съ намфреніемъ дълать завоеванія или поселяться въ другихъ мъстахъ, куда привлекала ихъ добыча или большее плодоносіе. Европейскій народъ никогда не жилъ подъ шатрами; равнины, покрытыя лъсами, позволяли имъ строить хижины, необходимыя подъ небомъ болъе суровымъ. Почвъ и климату Европы совершенно предназначено пріучать къ постоянной д'ятельности, которая составляеть источникъ всякаго благосостоянія. Положинъ, что Европа могла хвалиться только немногими отличными произведеніями, что, быть можеть, и ни одно ей исключительно не принадлежало; положимъ, что благороднъйшіе ея продукты были перенесены на почву ея изъ дальнихъ земель; съ другой стороны, это самое составляло необходимость воспитывать сіи чужеземные продукты. Такимъ образомъ, искусство долженствовало соединиться съ природою, и это соединение есть именно причина преусивнающаго образованія рода челов'яческаго. Безъ напряженія челов'якъ не расширяетъ круга своихъ понятій; разумъется, что сохраненіе жизни не должно также занимать всв его силы:-Европа по большей части одарена плодоносіемь, достаточно вознаграждающимъ за труды; въ ней нътъ земли значительной, которая бы совстви лишена была онаго; въ ней нтт песчаныхъ пустынь, какъ въ Аравіи и Африкъ; а степи, (и тъ обильно орошенныя раками), начинаются только съ восточныхъ земель. Горы посредственной величины пересъкають обыкновенно равнины; путешественникъ вездъ видитъ пріятную смъсь возвышенностей и долинъ, и если природа не является здёсь въ роскошномъ убранствъ жаркаго пояса, то, пробуждаясь весною, она облекается прелестію, чуждою однообразію земель тропическихъ.

Конечно большая часть средней Азіи пользуется обще съ Европою подобнымъ влиматомъ, и можно спросить: почему же здъсь не встръчаемъ тъхъ же явленій, но видимъ совсьмъ тому противныя? Здъсь пастушескіе народы Татаріи и Монголіи, кочуя въ земляхъ своихъ, осуждены пребывать въ постоянномъ нравственномъ бездъйствіи. Свойствами почвы своей, изобиліемъ горъ и равнинъ, числомъ судоходныхъ ръкъ, а болъе всего прибрежными землями, лежащими около Средиземнаго моря, Европа такъ разительно отличается отъ вышеупомянутыхъ странъ, что одна температура воздуха (притомъ не совсемъ одинакая даже подъ теми же градусами широты: ибо въ Азіи холодъ чувствительнее) не можеть никакъ служить поводомъ къ сравненію между сими частями свёта.

Но изъ физическаго различія можно-ли вывести тв нравственныя преимущества, которыя были слёдствіемъ вышезамъченнаго усовершенствованія семейной жизни? Съ симъ усовершенствованіемъ начинается, нівкоторымъ образомъ, исторія перваго просвъщенія нашей части свъта. Самое преданіе упоминаетъ, что Кекропсъ, оставивъ свою колонію между дикими жителями Аттики, быль первымь учредителемь правомърныхъ - браковъ: а кто не знаетъ уже изъ Тацита священнаго обычая Германцевъ, нашихъ предковъ в Одно-ли свойство климата замедляеть, сравниваеть постепенное развитие обоихъ половъ и вливаетъ въ жилы мужчины кровь болве холодную? Или утонченное чувство, вложенное въ сердце Европейца самою природою, высшее нравственное благородство, опредвляетъ соотношение обоихъ половъ? Какъ бы то ни было, кто не усматриваетъ важнаго вліянія отсюда проистекающаго. Не на семъ ли основаніи возвышается неразрушимая преграда между народами Востока и Запада? Подлежить ли сомнению, что сіе усовершенствованіе семейственной образованности было необходимымъ условіемъ нашего общественнаго устройства? Повторимъ решительно замечание, сделанное нами въ другомъ мъстъ: никакой народъ, у котораго позволялось многоженство, никогда не достигалъ свободнаго, благоустроеннаго правленія:

Однъ-ли сіи причины ръшили преимущество Европы? Присоединились-ли въ нимъ еще другія постороннія? Кто можеть

опредълить это? При всемъ томъ безспорно, что вся Европа можетъ хвалиться симъ преимуществомъ. Если южные народы и опередили жителей Съвера, если сіи послъдніе блуждали еще полудикими въ лъсахъ своихъ, между тъмъ какъ тъ уже достигли своей зрълости, не смотря на это, они успъли догнать своихъ предшественниковъ. Настало и ихъ время, то время, въ которое они съ върнымъ чувствомъ самопознанія обратили взоры на южныхъ братьевъ своихъ. Эти замъчанія приводятъ насъ сами собою къ важнымъ отличительнымъ свойствамъ, собственнымъ Югу и Съверу нашей части свъта.

На двъ части весьма неравныя, на южную и на съверную, разделяется Европа ценію горь, которая хотя и раскинула многія отрасли къ Югу и Северу, но въ главномъ направленіи простирается отъ Запада на Востокъ и досель, по неизвъстности высоты Тибетскихъ горъ, почитается высочайшею въ древнемъ свътъ. — Сія цъпь горъ есть хребетъ Альновъ, на западъ соединяющійся съ Пиренейскими горами посредствомъ Севенскихъ и простирающійся на востокъ, Карпатскою ценію и Балканомъ, до береговъ Чернаго моря. Она отдъляетъ три выдавшіеся къ Югу полуострова, Пиренейскій, Италію и Грецію, вивств съ южною частію Франціи и Германіи, отъ твердой земли Европы, простирающейся къ свверу далъе полярнаго круга. Сія послъдняя, гораздо пространнъйшая половина, заключаетъ въ себъ почти всъ главнъйшія ръки сей части свъта, исключая Эбро, Рону, По и еще тв нъсколько значительныя для судоходства ръки, которыя вливають волны свои въ Средиземное море. Никакая другая цёнь горъ нашей земли не была столь важна для исторіи нашего рода, какъ цень Альновъ. Въ продолженіи многихъ столътій, она разделяла, такъ сказать, два міра.

Подъ небомъ Грепіи и Гесперіи, давно уже благоухали прекраснъйшіе цвыты просвыщенія, когда въ лысахъ Сывера еще свитались разсвянныя племена варваровъ. То ли бы возвъстила намъ исторія Европы, если бы твердыня Альпійскихъ горъ, вивсто того чтобы простираться близь Средиземнаго моря, протянулась по берегамъ Съвернаго? Конечно сія граница кажется менъе важною въ наше время; предпримчивый умъ европейцевъ проложилъ себъ путь чрезъ Альпы, такъ какъ онъ проложилъ себъ оный чрезъ Океанъ; но много значила она въ томъ періодъ, который занимаеть насъ въ древности — когда съверъ отдълялся отъ юга физически, нравственно и политически. Долго сія цепь горъ служила благотворной обороною одному противъ другаго, и хотя Цезарь, разрывая наконецъ сім преграды, и раздвинулъ нѣсколько политическія границы, но какое різкое и продолжительное различіе видимъ мы между Римскою и не Римскою Европою.

И такъ одинъ югъ нашей части свъта можетъ занимать насъ въ настоящихъ изслъдованіяхъ. Если онъ былъ ограниченъ въ своемъ пространствъ, если онъ по видимому едва былъ помъстителенъ для сильныхъ народовъ, то за то былъ онъ достаточно вознагражденъ климатомъ и положеніемъ. Кто изъ сыновей съвера, спускаясь съ южной стороны Альповъ, не былъ пораженъ чувствомъ новой природы, его окружающей? Неужели эта лазурь, болье ясная на небъ Гесперіи и Греціи, это дыханіе воздуха болье теплое, этотъ рисунокъ горъ болье округленный, эта прелесть утесистыхъ береговъ и острововъ, этотъ сумракъ лъсовъ, блистающихъ золотыми плодами, неужели все это существуетъ въ однъхъ пъсняхъ стихотворцевъ? Здъсь, хотя далеко отъ земель тропическихъ,

уже угадываешь ихъ прелесть. Въ южной Италіи уже произрастаетъ алое въ дикомъ состояніи; Сицилія уже производить сахарный тростникъ; съ вершины Этны взоръ уже открываеть утесистый островъ Мальту, гдф созрфваеть финиковая пальма, а въ синей дали и берега близкой Африки*). Здъсь природа нигдъ не является въ этомъ однообразіи, которое такъ долго ограничивало умы народовъ, населявшихъ лъса и равнины съвера. Въ сихъ странахъ вездъ смъняются горы посредственной величины пріятными долинами, которыя Помона ущедрила прекраснъйшимя дарами. Если ограниченное пространство сихъ земель и не вмъщаетъ большихъ судоходныхъ ръкъ, то какъ вознаграждаютъ ихъ за этотъ недостатокъ обширные берега, богатые заливами! Средиземное море принадлежить южной Европв и единственно посредствомъ Средиземнаго моря содълались народы запада тъмъ, чемъ они были. Замените ее степью, и мы по сихъ перъ остались бы кочующими татарами, монгодами запоздалыми, какъ эти номады средней Азіи.

Изъ всёхъ народовъ юга, только три могутъ занять насъ: греки, македоняне и римляне, завоеватели Италіи, а вскорт и вселенной. Мы назвали ихъ въ томъ порядкт, въ которомъ они являются въ исторіи народами первенствующими, хотя различнымъ образомъ. Мы последуемъ тому же порядку въ ихъ изображеніи.

^{*)} Bartel. Путешествіе по Сициліи.

сцены изъ эгмонта.

(PETE)

Дворедъ Правительницы.

маргарита пармская, въ охотничьей одеждю, придворные, пажи, слуги.

ПРАВИТЕЛЬНИЦА.

Распустите охотниковъ: я сегодня не выъзжаю. Скажите Махіавелю, чтобъ онъ пришелъ ко мнъ.

(вст удаляются).

Мысль объ этихъ ужасныхъ происшествіяхъ не даетъ мив покоя. Ничто меня не тешить, ничто не разсеть; все тв же картины предо мной, все тв же заботы. Знаю впередъ, король скажеть, что это следствіе моего добросердечія, моей слабости, а совъсть ежеминутно говорить мнъ, что я сдълала все нужное, все лучшее. И что жъ было мив двлать? Усилить, разнести повсюду этотъ пламень бурею гитва? Я думала поставить пожару границы и этимъ потушить его. Такъ! то, что я повторяю себъ самой, то, въ чемъ я убъдилась, конечно, въ глазахъ моихъ, меня оправдываетъ; но братъ мой, — какъ приметъ онъ такія извістія? А можно ли скрыть ихъ? — Съ каждымъ днемъ возрастала гордыня пришельцевъучителей; они ругались надъ нашею святыней, обворожили грубыя чувства народа; предали его духу блужденія. Духи нечистые поселились между возмутителями, и что жъ ? Мы были свидетелями дёль ужасныхь, о которыхь и думать нельзя

безъ содраганія. Я должна подробно ув'вдомить о нихъ дворъ — подробно, не теряя времени, — не то предупредитъ меня всеобщая молва, и король подумаетъ, что мы отъ него скрываемъ еще больше ужасы. — Не вижу никакого средства, ни строгаго, ни кроткаго, отвратить зло.

(входить Махіавель).

ПРАВИТЕЛЬНИЦА.

Готовы ли письма къ королю?

MAXIABEЛЬ.

Чрезъ часъ я представлю ихъ вамъ для подписанія.

ПРАВИТЕЛЬНИЦА.

Обстоятельно ли описаль ты происшествія?

МАХІАВЕЛЬ.

Подробно и обстоятельно, какъ любитъ король. Разсказываю, какъ сперва въ с. Оменъ открылся гнусный замыселъ истребить иконы; какъ бъщеныя толпы съ палками, топорами, молотами, лъстницами, веревками, сопровождаемыя немногими вооруженными людьми, нападали на часовни, на церкви и монастыри, разгоняли молельщиковъ, выламывали ворота, опрокидывали алтари, разбивали святые лики, обдирали иконы, ловили, рвали, топтали все принадлежащее къ святынъ; какъ между тъмъ возрастало число бунтующихъ, и жители Иперна открыли имъ ворота города; какъ они съ неимовърной быстротою опустошили соборную церковь и сожгли библютеку епископа; какъ потомъ многочисленная толпа народа, влекомая тъмъ же безуміемъ, устремилась на Менинъ, Коминесъ, Фервикъ, Лилль, нигдъ не встръчая сопротивленія

и какъ, въ одно мгновеніе, почти во всей Фландріи обнарукился и исполнился ужаснъйшій заговоръ.

ПРАВИТЕЛЬНИЦА.

Ахъ! описаніе твое возобновило все мое горе! Къ тому же мучитъ меня и страхъ, что зло будетъ возрастать болье и болье. Скажи, Махіавель, что ты думаешь?

Махіавель.

Извините, ваше кысочество: мои мысли такъ похожи на бредъ. Вы всегда были довольны моими услугами, но весьма рѣдко слѣдовали моимъ совѣтамъ. Часто говорили вы мнѣ въ шутку: "Ты слишкомъ смотришь вдаль, Махіавель. Тебѣ быть бы историкомъ. Кто дѣйствуетъ, тотъ заботится только о настоящемъ." И чтожъ? Не предвидѣлъ ли я, не предсказывалъ ли всѣхъ этихъ ужасовъ?

ПРАВИТЕЛЬНИЦА.

Я тоже многое предвижу и не нахожу способа отвратить зло.

Махтавель.

Однимъ словомъ: вамъ не подавить новаго ученія. Не гоните его приверженцевъ, отдълите ихъ отъ правовърныхъ, дайте имъ церкви, примите ихъ въ число гражданъ, ограничьте права ихъ, и такимъ образомъ вы однимъ разомъ усмирите возмутителей. Всѣ прочія средства будутъ напрасны, и вы безъ пользы опустошите землю.

правительница.

Развъ ты забылъ, въ какое негодование привелъ брата моего одинъ вопросъ: можно ли терпъть новое учение? Ты знаешь, что онъ въ каждомъ письмѣ поручаетъ мнѣ всѣми силами поддерживать истинное вѣроисповѣданіе? Что онъ не кочетъ пріобрѣсти спокойствіе и согласіе на счетъ религіи? Развѣ въ провинціяхъ у него нѣтъ шпіоновъ, которыхъ мы совсѣмъ не знаемъ и которые разыскиваютъ, кто именно склоняется къ новымъ мнѣніямъ? Не изумлялъ ли онъ насъ часто, открывая намъ внезапно, что люди, къ намъ близкіе, тайно приставали къ ереси? Не приказывалъ ли онъ мнѣ быть строгою, непреклонною? — А я буду употреблять мѣры кротости? Я буду совѣтывать ему терпѣть, миловать? Не лучній ли это способъ лишиться его довѣренности?

Махіавель.

Я очень знаю, король приказываеть, король сообщаеть вамъ свои намъренія. Вы должны возстановить миръ и тишину такими средствами, которыя еще болье ожесточать умы и зажгуть неизбъжно войну повсемъстную. Подумайте о томъ, что вы дълаете. Купечество заражено: дворянство, народъ, солдаты — также. Къ чему упорствовать въ своихъ мысляхъ, когда все вокругъ насъ измъняется? Ахъ! еслибъ добрый геній шепнулъ Филиппу, что королю приличнъе управлять подданными двухъ различныхъ исповъданій, нежели одну половину царства истреблять другою!

ПРАВИТЕЛЬНИЦА.

Впередъ чтобъ я этого не слыхала. Я знаю, что политика рѣды согласуется съ правилами вѣры и честности, что она изгоняетъ изъ сердца откровенность, добродушіе и кротость. Дѣла свѣтскія, къ несчастію, слишкомъ ясно доказываютъ эту истину. Но неужели мы должны играть Богомъ. какъ играемъ другъ другомъ? Неужели мы должны быть

равподушными къ истинному ученію предковъ, за которое столь многіе жертвовали жизнію? И это ученіе промъняемъ мы на чужія, невърныя нововведенія, которыя сами себъ противоръчать!

МАХІАВЕЛЬ.

По этимъ словамъ, не сомнъвайтесь въ моихъ правилахъ.

правительница.

Я знаю тебя, знаю твою върность, и знаю, что человъкъ можтъ быть и честенъ и благоразуменъ, забывая иногда ближайшую дорогу къ спасенію души своей. Не ты одинъ Махіавель; есть еще и другіе, которыхъ я должна любить и порицать.

МАХІАВЕЛЬ.

На кого намекаете вы мнв ?

ПРАВИТЕЛЬНИЦА.

Признаюсь тебъ, Эгмонтъ чрезвычайно огорчилъ меня сегодня.

МАХІАВЕЛЬ.

Чвиъ же?

ПРАВИТЕЛЬНИЦА.

Чъмъ ? обыкновенно чъмъ: своею холодностью, своимъ легкомысліемъ. Я получила ужасное извъстіе въ то самое время, какъ выходила изъ церкви, сопровождаемая многими и въ томъ числъ Эгмонтомъ. Я не могла владъть своей печалію, не могла скрыть ее и громко сказала, обращаясь къ нему: вотъ что происходитъ въ вашей провинціи! и вы это терпите, графъ! вы, на котораго король полагалъ всю свою надежду?

МАХІАВЕЛЬ.

И что же отвъчаль онъ?

ПРАВИТЕЛЬНИЦА.

Онъ отвъчалъ мнъ, какъ будто бы я говорила о бездълицъ, о дълъ постороннемъ. Лишь бы нидерландцы не боялись за свои права, — все прочее придетъ само собою въ порядокъ.

МАХІАВЕЛЬ.

Выть можеть, въ этихъ словахъ болѣе истины, нежели приличія и благочестія. Можеть ли существовать довѣренность, когда нидерландецъ видить, что дѣло идетъ болѣе объ его имуществѣ, нежели объ истинномъ его благѣ — о спасеніи души его? Всѣ эти новые епископы спасли ли столько душъ, сколько ограбили жителей? Не всѣ ли почти они иноземцы? По сихъ поръ, мѣста Штатгальтерскія заняты еще нидерландцами, но не ясно ли видно, что ненасытные испанцы алкаютъ завладѣть сими мѣстами? Не лучше-ли народу видѣть въ правителъ своего же соотечественника, вѣрнаго роднымъ обычаямъ, чѣмъ иноземца, который напередъ старается разбогатѣть на счетъ другихъ, все мѣряетъ своимъ чужестраннымъ аршиномъ и господствуетъ безъ пріязни, безъ участія къ своимъ нодданнымъ?

•правительница.

Ты стоишь за нашихъ противниковъ.

МАХІАВЕЛЬ.

Нътъ № по сердцу конечно не за нихъ. Я бы желалъ чтобъ и разсудокъ былъ совершенно за насъ.

ПРАВИТЕЛЬНИЦА.

Если такъ, то мив бы должно уступить имъ правленіе.

Эгмонтъ и Оранскій очень тішились надеждою занять кое місто. Тогда были они противники; теперь они заодно противь меня; они стали друзья, друзья неразрывные.

МАХІАВЕЛЬ.

И друзья опасные.

ПРАВИТЕЛЬНИЦА.

Сказать тебѣ откровенно ? Я боюсь Оранскаго и боюсь за Эгмонта. Недоброе замышляетъ Оранскій; мысли его всегда устремлены вдаль; онъ скрытенъ, на все, кажется, согласенъ, никогда не противорѣчитъ и съ видомъ глубокой почтительности, съ величайшей осторожностью, всегда дѣлаетъ все, что хочетъ.

МАХІАВЕЛЬ.

Эгмонть, напротивь, дъйствуеть свободно, какъ будто бы весь мірь ему принадлежить.

ПРАВИТЕЛЬНИЦА.

Онъ такъ высоко носить голову, какъ будто бы не висъна надъ нимъ рука царская.

MAXIABEЛЬ.

Вниманіе всего народа обращено на него; онъ покориль себъ сердца всъхъ.

ПРАВИТЕЛЬНИЦА.

Никогда не боялся онъ навлечь на себя подозръпіе, какъ будто уже некому требовать отъ него отчета. До сихъ поръ носить онъ имя Эгмонта; ему пріятно называться Эгмонтомъ.

какъ будто не хочетъ забыть, что предки его были владѣтелями Гельдерна. Зачѣмъ не называется онъ принцемъ Гаврскимъ, какъ ему слѣдуетъ? Зачѣмъ это? Или онъ хочетъ возстановить права забытыя?

МАХІАВЕЛЬ.

Я считаю его върнымъ слугою короля.

ПРАВИТЕЛЬНИЦА. -

О! еслибъ онъ хотълъ, какъ легко могъ бы онъ заслужить благодарность привительства, вмъсто того, чтобы такъ часто огорчать насъ до крайности безъ всякой собственной пользы. Его сборища, его пиры и празднества связали, сроднили дворянъ между собою тъснъе, нежели опаснъйшія тайныя общества. Вино, которое лилось у него за здравіе, надолго вскружило головы гостямъ, и пары его никогда не разсвются. Какъ часто своими шутками приводилъ онъ въ движеніе умы народа, и мало ли удивлялась толпа новымъ его ливреямъ и нелъпымъ одеждамъ его прислужниковъ.

МАХІАВЕЛЬ.

Я увъренъ, что все это было безъ намъренія.

ПРАВИТЕЛЬНИЦА.

Это и несчастно. Опять повторяю: онъ намъ вредить, а себъ пользы не приносить. Онъ дъла важныя почитаетъ шутками, а мы, чтобъ не казаться праздными и слабыми, мы должны самыя шутки считать дълами важными. Такимъ образомъ, одно возбуждаетъ другое, и то, что стараешься отвратить, то именно дълается неизбъжнымъ. Онъ опаснъе, нежели

иной рѣшительный глава заговора, и я почти увѣрепа, что при дворѣ уже во всемъ его подозрѣвали. Признаюсь откровенно: мало проходить времени, чтобъ онъ меня не огорчалъ, не огорчалъ до крайности.

МАХІАВЕЛЬ.

Мит кажется, онъ во всемъ дъйствуетъ по своей совъсти.

ПРАВИТЕЛЬНИЦА.

Совъсть его все показываеть ему въ зеркалъ обманчивомъ. Поведение его часто обидно. Онъ часто ведетъ себя какъ человъкъ, который совершенно увъренъ въ превосходствъ своей силы, и только изъ снисхождения не даетъ намъ ее чувствовать, не хочетъ прямо выгнать насъ изъ государства, и потому старается все сладить мирнымъ образомъ.

МАХІАВЕЛЬ.

Нѣтъ! его искренность, его счастливый характеръ, который легко судить о самыхъ важныхъ дѣлахъ, не такъ опасны, какъ вы воображаете. Вы этимъ только вредите ему и себѣ.

ПРАВИТЕЛЬНИ ПА.

Я ничего не воображаю. Говорю телько о слёдствіяхъ неизбъжныхъ, и знаю его. Званіе нидерландскаго дворянина, орденъ золотаго Руна на груди: вотъ что усиливаетъ его самоувъренность, его смълость. Оба сіи преимущества могуть служить ему защитою противъ прихоти и гнъва царя. Разбери внимательно: не онъ ли одинъ виновникъ всъхъ несчастій, которыя теперь постигли Фландрію? Онъ, съ самаго начала, не преслъдовалъ лжеучителей, не обращалъ на нихъ

вниманія; онъ, быть можеть, тайно и радовался, что намъ готовятся новыя заботы. Постой, постой: все, что лежить на сердце, все вылью я наружу при этомъ случав. Не даромъ пущу я стрълу; я знаю его слабую сторону, и онъ умъетъ чувствовать.

МАХІАВЕЛЬ.

Созвали-ли вы совътъ? Будетъ ли и Оранскій?

правительница.

Я послала за нимъ въ Антверпенъ. Сложу, сложу на ихъ плеча все бремя отчета; пусть они, вмъстъ со мною, дъятельно воспротивятся злу или также подымутъ знамя возмущенія. Иди, докончи скоръе письма, и я подпишу ихъ; тогда ты, не медля, отправишь Васку въ Мадритъ; Васка на дълъ доказалъ свою неутомимость, свою преданностъ. Пусть братъ мой черезъ него получитъ Фландрскія извъстія, прежде нежели онъ дойдутъ до него молвою. Я сама хочу видъть его до его отъъзда.

МАХІАВЕЛЬ.

Ваши приказанія будуть исполнены скоро и точно.

мыцанскій домъ.

КЛАРА, МАТЬ ЕЯ, БРАКЕНБУРГЪ.

КЛАРА.

Что-же, Бракенбургъ? ты не хочешь подержать мить мотокъ?

БРАКЕНБУРГЪ.

Пожалуйста избавь меня отъ этого, милая Клара.

КЛАРА.

Что съ нимъ опять сдълалось? За что отказывать мнъ въ маленькой услугъ, когда прошу тебя изъ дружбы?

БРАКЕНБУРГЪ.

Я, какъ вкопаный, долженъ стоять передъ тобой съ нитками такъ, что отъ взглядовъ твоихъ нътъ спасенія.

КЛАРА.

Экой бредъ! держи, держи.

MATL.

(сидя въ креслахъ и продолжая вязать чулокъ).

Спойте-же что нибудь. Бракенбургъ такъ мило подпъваетъ. Бывало, вы всегда такъ веселы, и мнъ всегда есть чему посмъяться.

БРАКЕНБУРГЪ.

Бывало.

КЛАРА.

Ну, давай пъть.

ВРАКЕНБУРГЪ.

Что хочешь ?

КЛАРА.

Но только живъе. Споемъ соддатскую пъсенку, мою любимую.

(Она мотаеть нитки и поеть вмысть съ Бракенбургомь).

Стучать барабаны!
Свистовъ заиграль!
Съ дружиною бранной
Мой другъ поскакалъ.
Онъ скачетъ, качаетъ
Большое копье —
Съ нимъ сердце мое!
О что я пе воинъ!
Что нѣтъ у меня
Копья и коня!

За нимъ бы помчалась

Въ далеки кран,
И съ пимъ бы сражалась
Безъ трепета я.
Враги пошатпулись —
За пими во слъдъ:
Пощады пиъ пътъ!
О смълый мущина!
Кто равенъ тебъ
Въ счастливой судьбъ?

(Бракенбург, въ продолжини пъсни, нъсколько разъ взглядываль на Клиру. Наконецъ голосъ его задрожаль, глаза залимись слезами; онъ роняетъ мотокъ и подходить къ окошку. Клара одна допъвистъ пъсню. Мать съ досадою дълаеть ей знакъ; они встаеть, приближается на нъсколько шаговъ къ Бракенбургу, но возвращается въ неръшимости и садится).

MATL.

Что тамъ за шумъ на улицъ, Бракенбургъ? Мнъ слышится, будто идутъ войска.

ВРАКЕНБУРГЪ.

Лейбъ-гвардія правительницы.

КЛАРА.

Въ эту пору! Что это значитъ? Нѣтъ! это не вседневное число солдатъ; тутъ ихъ гораздо больше! Почти всѣ полки. Ахъ, Бракенбургъ! поди послушай, что тамъ дѣлается. Вѣрно что нибудь необыкновенное. Поди, мой милый; поди пожалуйста.

ВРАКЕНБУРГЪ.

Иду и тотчасъ ворочусь. (Уходя, протягиваеть ей руку, она подаеть ему свою).

MATS.

Ты онять его отсылаешь?

КЛАРА.

Я любопытна. И притомъ, признаюсь вамъ, меще мучитъ его присутствіе. Я не знаю, какъ съ нимъ обращаться. Я передъ нимъ виновата, и мнѣ больно видѣть, что онъ это такъ живо чувствуетъ. — А мнѣ что дѣлать? какъ бѣдѣ помочь?

MATL.

Онъ такой върный малый.

КЛАРА.

Я также не могу отвыкнуть дружески встръчать его. Рука моя сама собою сжимается, когда онъ тихо кладетъ въ нее свою руку. Я сама браню себя за то, что его обманываю, что питаю въ сердцъ его надежду напрасную. Мученье мнъ, мученье! Клянусь Богомъ, я его не обманываю, я не хочу, чтобъ онъ падъялся, и не могу однакожъ видъть его въ отчаяніи.

MATЬ.

Не хорошо, не хорошо.

КЛАРА.

Я любила его и, по сихъ поръ, желаю ему добра отъ всей души. Я бы согласилась выдти за него замужъ, а кажется никогда влюблена въ него не была.

мать.

Ты могла бы съ нимъ быть счастлива.

КЛАРА.

То есть безъ заботъ, могла бы жить покойно.

MATH

И все это прогуляла ты по своей собственной винъ.

КЛАРА.

Я пахожусь въ странномъ положеніи. Когда инъ придетъ

въ голову спросить себя, какъ все это сдѣлалось; я хоть и знаю, да не нонимаю, а взгляну только на Эгмонта— и все становится мнѣ понятнымъ; охъ! при немъ, для меня и не это одно понятно. Что за человѣкъ! онъ Богъ въ глазахъ всѣхъ провинцій; а мнѣ, въ объятіяхъ его, не считаться счастливъйшимъ созданіемъ въ мірѣ!

MATL.

Что-то готовитъ будущее?

КЛАРА.

Ахъ! у меня только одна забота: любитъ-ли онъ меня. А мнъ ли это спрашивать?

мать.

Отъ дѣтей только и наживаешь что хлопотъ, да горе: Чѣмъ-то это кончится. Все тоска, да тоска. Нѣтъ! не добромъ это кончится! Ты и себя, и меня, сдѣлала несчастною.

КЛАРА

(хладнокровно).

Сначала вы сами позволяли.

MATЬ.

Къ несчастію, я была слишкомъ добра, я всегда слишкомъ добра.

КЛАРА.

Когда бывало Эгмонтъ вдетъ мимо насъ, а я побъгу къ окну, бранили ли вы меня? Не подходили ли сами въ окну? И когда онъ смотрълъ на насъ, улыбался, махалъ мнъ ру-

кою и кланялся, гивались ли вы? Не сами ли радовались, что дочка дожила до такой части?

MATЬ.

Упрекай еще меня кстати.

· ()

КЛАРА.

(съ чувствомъ).

Когда онъ сталъ чаще проъзжать пашей улицей, и мы очень чувствовали, что онъ это дълалъ для меня, не сами ли вы это замътили съ тайной радостью? Вы не запрещали мнъ стоять у окна и поджидать его.

MATЬ.

Могла ли я думать, что шалость завлечеть **тебя** такъ далеко.

КЛАРА.

(дрожащимъ голосомъ, но удерживая слезы).

А помните, вечеромъ, какъ онъ вдругъ явился весь закутанъ въ епанчъ и засталъ насъ за столомъ у ночника: кто принялъ его, когда я сидъла безъ памяти, и какъ бы прикованная къ столу?

MATL.

Могла ли я бояться, что умная моя Клара такъ скоро предастся этой несчастной любви? Теперь должно терпъть, чтобы дочь моя....

КЛАРА.

(заливаясь слезами).

• Матушка! вы хотите терзать меня! вы радуетесь моему мученю.

MATL.

(плачетъ).

Плачь еще, плачь! Оторчай меня еще болье своимъ отчаяньемъ! И такъ ужь мнъ тоски довольно. И такъ довольно прискорбно видъть, что дочь моя, дочь единственная, всъми отвержена.

КЛАРА

(вставая и холодно).

Отвержена! любовница Эгмонтова отвержена! Какая женщина не позавидуетъ участи бъдной Клары! Ахъ матушка, любезная матушка! вы никогда такъ пе говорили. Успокойтесь, матушка, примиритесь со мною... Что говоритъ народъ? Что шепчутъ сосъдки?.. Нътъ! эта комнатка, этотъ домикъ—они стали раемъ съ тъхъ поръ, какъ обитаетъ въ нихъ любовь Эгмонтова.

MATЬ.

Его нельзя не любить. Это правда. Онъ всегда такъ привътливъ, такъ открытъ и свободенъ.

КЛАРА.

Въ его жилахънътъ ни капли нечистой крови. Подумайте сами, матушка. Эгмонтъ великъ и слав нъ; а когда ко мнъ придетъ — онъ такъ милъ, такъ добросердеченъ. Онъ всъмъ бы мнъ пожертвовалъ — и чиномъ своимъ, и храбростію. Онъ мною такъ занятъ! Онъ тутъ просто келовъкъ, просто другъ, ахъ! просто любовникъ.

MATЬ.

Сегодня будеть ли онъ?

КЛАРА.

Разв'в вы не зам'втили, какъ я часто подб'вгаю къ окошку? Какъ вслушиваюсь, когда что нибудь зашумитъ за дверью? Хотя и знаю я, что онъ до ночи не приходитъ, однакожь всякую минуту жду его съ самаго утра — какъ только встану. За чъмъ я не мальчикъ? Я всегда бы съ нимъ ходила — и при двор'в и везд'в! и въ сражения я понесла бы за нимъ знамя.

мать.

Ты всегда была вертушкой. Бывало еще ребенкомъ, то ръзва безъ памяти, то задумчива. — Неужели ты не одънешься пемного получше?

КЛАРА.

Можетъ статься, матушка. Если мнѣ будетъ скучно, то одѣнусь. Вчера — подумайте — прошло нѣсколько изъ его солдатовъ: они пѣли ему похвальныя пѣсни. Покрайней мѣрѣ, они въ пѣсняхъ поминали его имя; прочаго я не поняла. Сердце у меня такъ и рвалось изъ груди; и если бы не стыдъ остановилъ, я бы охотно ихъ воротила.

мать.

Смотри, осте тайся. Твое пламенное сердце тебя погубить. Ты явно изобличаешь себя передъ честными людьми. Какъ намедни у дяди — увидъла картинку съ онисаніемъ и вдругъ в кричала: графъ Эгмонтъ! — Я вся покраснъла.

КЛАРА.

Какъ мив не вскрикнуть! Это было Гравелингское сраженіе. Вверху на картинкв вижу букву C, ищу C въ опи-

саніи, и что же? тамъ написано: графъ Эгмонть, подъ которымъ убита лошадь. Я обмерла, но потомъ невольно разсмъялась, какъ увидѣла напечатаннаго Эгмонта, который ростомъ съ башню Гравелингскую и не меньше англійскихъ кораблей, представленныхъ въ сторонѣ. Когда я вспомню, какъ бывало я представляла себѣ сраженіе, и какъ воображала себѣ графа Эгмонта въ то время, какъ вы разсказывали о немъ и прочихъ графахъ и князьяхъ; когда вспомню и сравню эти картины съ нынѣшними своими чувствами.....

(Бракенбург входить.)

КЛАРА.

Что поваго?

БРАКЕНВУРГЪ.

Никто ничего не знаетъ върнаго. Говорятъ, что во Фландріи было недавно возмущеніе, и что Правительница должна смотръть, какъ бы и здъсь оно не распространилось. Замокъ окруженъ войсками; у воротъ толпятся граждане; улицы кинятъ народомъ. Поспъщу къ старику своему, къ отцу.

(Будто хочстъ идти.)

КЛАРА.

Завтра увидимъ тебя? Я хочу немного лучше одъться. Къ намъ будетъ дядя, а я такъ неопрятна. — Матушка, помогите мнъ на мипуту. — Возьми съ собою кпигу, Брассенбургъ, и принеси мпъ еще такую же повъсть.

MATL.

Прощай.

БРАКЕНБУРГЪ.

(подавая руку Кларъ).

Ручку.

КЛАРА

(отказываясь).

Когда воротишься.

(Мать уходить съ дочерью.)

БРАКЕНБУРГЪ.

(одинь).

Ръшился тотчасъ же идти; но она на это согласна, она равнодушно отпускаеть, и я готовъ взбъситься. — Несчастный! И тебя не трогаеть судьба отечества! Ты хладнокровно видишь возрастающій мятежь! Для тебя все равно, что Испанецъ, что землякъ, что власть, что право? Таковъ ли я былъ мальчикомъ въ училищъ ? Когда намъ задали написать "ръчь Брута о свободъ", для упражненія въ краснорьчін, кто быль первый, какъ не Фрицъ? и что же сказалъ Ректоръ? — "Если бъ только больше было порядка, да не такъ все перемъшано. "-Тогда сердце кипъло и рвалось. Теперь, волочусь за этой девушкой, какъ будто прикованъ въ глазамъ ея. И не могу ее оставить! И не можеть она любить меня! Ахъ! Нътъ! и не совствит она меня разлюбила! — Какъ не совствиту Нисколько, нисколько не разлюбила! она все таже И все пустое. — Долъе не стерилю, не могу териъть. Или повърить тому, что шепнулъ мнв на дняхъ пріятель? — что она ночью внускаетъ къ себъ мущину, она, которая всегда выгоняетъ меня изъ дому, какъ только начнетъ смеркаться. Нътъ! это ложь, ложь постыдная, проклятая. Клара моя также невинна, какъ я несчастливъ. Она разлюбила меня; для меня нътъ мъста въ ея сердцъ. – И миъ влачить такую жизнь! Я сказалъ, не стану, не могу терпъть долъе. Отечество мое безпрерывно раздираютъ междоусобныя войны, а я.... буду смотръть, какъ полумертвый, на эти раздоры? Нътъ, я не стерилю. — Когда зазвучить труба, когда раздается выстрель: по мив пробъжить холодная дрожь. И меня не тянеть летёть своимъ на помощь, за одно съ ними броситься въ опасности! — Несчастное, позорное состояніе! Лучше умереть разомъ! Давно ли бросился я въ воду? — пошелъ ко дну, и что же ? природа съ: своимъ страхомъ бдержала верхъ, я чувствоваль, что могу плыть, и спасся нехотя. — Если бы могь я хоть забыть то время, въ которое она меня любила, или тышила любовью! За чыть это счастіе врызалось въ сердце, връзалось въ память? Зачьмъ эти надежды, указывая на отдаленный рай, отравили для меня всв наслажденія жизни? — А первый поцелуй? Ахъ! первый и последній! Здесь... (положивъ руку на столъ) здесь сидели мы одни. Она всегда была во мнв ласкова. Туть показалось, что она была нъжнъе обыкновеннаго. Взглянула на меня — все около меня закружилось и я чувствоваль, что губы ея горели на моихъ.—А теперь.... теперь?—Умри несчастный! къ чему страхъ и сомивныя? (вынимаеть изъ кармана сканку). Недаромъ я украль тебя изъ ящика брата доктора, ядъ спасительный! Ты все разсвень: и боль . г. мучительное предчувствіе смерти.